

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

СТИХИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА



Вильгельм Вениаминович Левик (род. в 1907 году) — один из крупнейших советских поэтов-переводчиков. В 1938 году вышла в свет его первая большая работа — перевод «Германи» Г. Гейне.

Приверженность В. Левика к европейской поэтической классике определилась сразу и бесповоротно. Он переводил У. Шекспира и

Дж. Г. Байрона, П. Ронсара и Ж. Лафонтена, Ш. Бодлера и И. В. Гёте, Ф. Шиллера и Г. Гейне, А. Мицкевича и Ю. Тувима, Ш. Петефи и И. Бехера и многих других.

Переводы В. Левика отличаются высокой культурой, поэтичностью и точностью в передаче духа подлинника.

В. Левик — один из создателей советской школы реалистического перевода.

Литературовед и теоретик, Левик написал ряд критических работ, которые посвящены как проблемам художественного перевода, так и творчеству крупных европейских поэтов.

В переводах В. Левика вышли следующие книги: П. Ронсар. Избранные стихотворения. М., 1946; «Из европейских поэтов XVI—XIX вв.». М., 1956; Н. Ленау. Стихи и поэмы. М., 1956; П. Ронсар. Лирика. М., 1963; Л. Камюэнс. Сонеты. М., 1964; «Из европейских поэтов». М., 1967; Ж. Дю Белле, П. Ронсар. Стихи. М., 1969; Г. Гейне. Германия. М., 1972; Дж. Г. Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда. М., 1973.

Цена 51 коп.



М А С Т Е Р А П О Э Т И Ч Е

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

П. АНТОКОЛЬСКОГО, Е. ВИНОКУРОВА,

М.ЗЕНКЕВИЧА, В. ОГНЕВА,

Б. СЛУЦКОГО И Е. СОЛОНОВИЧА

ВЫПУСК 18

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРОГРЕСС“

С К О Г О П Е Р Е В О Д А

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

**СТИХИ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ
В ПЕРЕВОДЕ**

**Вильгельма
Левика**

МОСКВА 1974

АВТОР ПРЕДИСЛОВИЯ
Б. СЛУЦКИЙ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
З. ПОЛЯКОВА

Все произведения, включенные в настоящий сборник,
изданы на языке оригинала до 27 мая 1973 г.

© Издательство «Прогресс», 1974

Произведения, отмеченные знаком *

© Перевод на русский язык «Прогресс», 1974

Л $\frac{70404-349}{006(01)-74}$ 117-74

ПРЕДИСЛОВИЕ

Полвека назад Вильгельм Левик — в ту пору шестнадцатилетний подросток — сделал свой первый поэтический перевод:

Зазвучали все деревья,
Птичьи гнезда зазвенели.
Кто веселый капельмейстер
В молодой лесной капелле?

То, быть может, серый чибис,
Что стоит, кивая гордо?
Иль педант, что там кукует
Так размеренно и твердо?

Или аист, что серьезно,
С важным видом дирижера
Отбивает такт ногою
В песне радостного хора?

Нет, во мне самом укрылся
Капельмейстер окрыленный,
Он в груди стучит, л и к у я, —
То амур неугомонный.

(Г. Гейне)

С тех пор этот перевод печатался множество раз и всегда без всяких изменений, в том виде, в каком он был сделан Левиком-юношей, почти еще мальчиком. Уже тогда, в 1923 году, сформировались переводческие интересы В. Левика, отличающие его от многих поэтов-переводчиков, что обеспечивает ему особое место в искусстве поэтического перевода.

© Издательство «Прогресс», 1974

Укажем, во-первых, на пронесенную через долгие годы верность профессии. В. Левик начал как переводчик поэзии, и по сей день он переводчик — и только переводчик: ни одного оригинального стихотворения он не опубликовал. Более того — не написал. Если не считать шуточных, посвященных домашним событиям.

Как же обстоит дело у других мастеров поэтического перевода? Если взять даже выпуски серии, в которую включен и настоящий томик, окажется, что все они без исключения принадлежат поэтам, крупным оригинальным поэтам, для которых поэтический перевод — вторая профессия. Почитаемая, прошедшая через десятилетия, но вторая. Даже Н. Заболоцкий, М. Зенкевич и Д. Самойлов, у которых поэтических переводов значительно больше, чем оригинальных стихов, прежде всего поэты и только уже потом переводчики поэзии. Даже М. Лозинский, при мысли о котором сразу же вспоминается его титаническая работа над «Божественной Комедией», начинал как поэт. С оригинальной поэзии начинал и С. Маршак. И, несмотря на активную переводческую деятельность, оставался поэтом всю свою жизнь. Его стихи — и детские и сатирические — не менее значительны, чем его переводы.

А Вильгельм Левик едва ли не единственный мастер (но крайней мере в своем поколении), который отдал переводу весь свой поэтический дар, не оставив ничего для оригинальных стихов.

Второй особенностью Левика является избирательность его вкуса, его приверженность к европейской поэтической классике. Русские советские поэты необычайно расширили географию поэтического перевода. В восемнадцатом и девятнадцатом веках в России переводили античных поэтов, а также немецких, английских, французских, польских поэтов. Этим, пожалуй, и ограничивались. После Октября, а точное, с начала тридцатых годов, у нас переводят поэзию всех пяти континентов. Больших сил потребовал перевод поэзии народов СССР. Здесь пришлось начинать почти с азов. В. Левик принял участие в этой благородной и необходимой работе. Однако главное его внимание и при этом было отдано все тем же европейцам, которых переводили до революции. Подобно Жуковскому, он переводил Шиллера, подобно Михайлову

и Тютчеву — Гейне, подобно Пушкину и Фету — Мицкевича, подобно Лермонтову и Алексею Толстому — Байрона, подобно все тем же Алексею Толстому и Жуковскому — Гёте.

В. Левик много сделал, чтобы перевести величайших из великих. А для перевода европейской поэзии девятнадцатого века он сделал, пожалуй, больше, чем любой из его современников. Пока другие поэты бороздили мировые просторы, Левик промывал и перемывал руды, уже не единожды промытые. Он переводил «Германию» Гейне после Вейнберга и Тынянова, «Чайльд Гарольда» Байрона — после Козлова и Шенгели, «Лорелею» Гейне — после двух десятков переводчиков, от Каролины Павловой до Блока, «Ленору» Бюргера — после Жуковского и Катенина, «Смотри в поток» Ленау — после Тютчева («Забвение»), «Крымские сонеты» Мицкевича — после Майкова и Бунина.

В этом еще одна отличительная черта Левика. Он не боится соперничать с признанными мастерами: переводит переведенное, признанное, более того — заслуженно признанное. Разве не казался окончательным, вечным бросовский перевод «Каина и Авеля» Бодлера? Однако перевод Левика стал вровень с шедевром старого мастера, а может, в чем-то и превзошел его.

Что же побуждает В. Левика к соперничеству, всегда необычайно трудному, очень часто рискованному? Тому несколько причин. Изменились общественные условия. Левик может перевести «Дядю» Мицкевича и точно, и полно, а переводчики вольфовского издания не могли. Изменилось отношение переводчика к переводу. Перевод стал несравненно менее пересказом, перепевом, переложением и несравненно более — переводом, чем это было в девятнадцатом веке. Требования эквилинеарности, эквиритмии, возможно более верного воспроизведения всех особенностей подлинника — все эти требования были сформулированы уже в наше время. Вот что пишет о точности перевода сам Левик:

«Среди многих спорных принципов перевода есть один бесспорный: *перевод должен быть точным*. Но странное дело — именно этот принцип, на первый взгляд не требующий доказательств, кажущийся нам аксиомой, является в переводческой практике

одним из главных источников большинства недоразумений и промахов. При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем, что это, казалось бы, ясное понятие — «точность» — включает в себя множество разнородных элементов, практически, в передаче стихотворения на чужой язык, с трудом согласуемых и даже противоречивых. И если переводчик не сумеет себя ограничить в выборе элементов, подлежащих передаче, не сумеет взглянуть на переводимый материал как бы с некоторого отдаления, с вышины, он запутается в частностях и потерпит неудачу.

С ним произойдет то же, что с художником, который, изображая с натуры дерево, начнет выписывать все листочки и веточки, вместо того чтобы добиваться правдивой передачи характера всей его массы, всего рисунка в целом. Он, переводчик, стремясь к точности, может в этом случае настолько уклониться от оригинала, что в переводе вообще исчезнет всякое сходство с последним»¹.

Требование точности — общее требование советской школы перевода, одним из зачинателей которой является Вильгельм Левик.

У В. Левика есть и свои собственные причины переводить уже переведенное. Как и всякий крупный мастер, он не только принадлежит школе, но и выделяется из нее. Чем же? Мне кажется, что среди советских поэтов-переводчиков Левик отличается неизменной приверженностью к классическому стилю. Его поэтические пристрастия, более того, язык его поэзии сформированы все теми же титанами поэзии девятнадцатого века — и теми, которых он переводил, и в еще большей мере представителями русской поэтической классики, особенно Пушкиным и поэтами его плеяды, а также непосредственными предшественниками Пушкина — Батюшковым и Жуковским. Учился Левик и у Тютчева, чье благотворное влияние особенно ярко сказалось на переводах из Николауса Ленау. Опыт поэтического символизма мало повлиял на Левика. Опыт русского футуризма или, скажем, немецкого экспрессионизма и французского сюрреализма не повлиял никак. Язык пе-

¹ В. Левик. О точности и верности. — В сб.: «Мастерство перевода». М., «Советский писатель», 1959, с. 254.

роводов Левика определен языком русской классики, и слово «кровля» любезно его сердцу не менее, чем слово «крыша». Владея всеми средствами современного поэтического языка (достаточно называть переводы сатиры Гейне, Бодлера или Рембо), В. Левик все-таки решительно предпочитает язык классиков. Октава и даже труднейшая спенсера строфа милее ему, чем нынешний свободный стих. И даже переводя современных авторов, он выбирает мастеров, связанных с традицией. Скажем, позднего Бехера, но не раннего, позднего Арагона, а не Арагона-сюрреалиста.

Традиционализм Левика (можно употребить и другой термин — верность заветам классиков) может нравиться или не нравиться. Однако он существует. Сравните «Германию» в переводе Тынянова или поэтов французской «Плеяды» в переводах Эренбурга с переводами Левика. Лексика первых ближе к сегодняшней или, если быть справедливым, к лексике тридцатых годов нашего столетия у Тынянова, к лексике пятидесятых годов — у Эренбурга. У Левика слова не сегодняшние, а вечные, иногда чуть тронутые патиной времени. В результате две «Германии» — Тынянова и Левика — успешно сосуществуют в нашей поэтической традиции.

Вильгельм Левик — один из самых образованных литераторов нашего времени. Большинство его переводов выполнено непосредственно с языка оригинала. Французским, немецким и английским Левик владеет в совершенстве. Когда ему приходилось работать с подстрочником (например, при переводе Петефи), его консультировали лучшие знатоки языка и культуры Венгрии. Сравнительно немногочисленные «штудии» Левика — предисловия к книгам или статьи о поэзии — отличаются глубиной и доскональностью сведений и изяществом слога.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство в творческой биографии Левика. Он — профессиональный живописец: портретист и пейзажист. (Стало быть, вторая профессия у него все-таки есть.) Чтобы доказать серьезность второй профессии для переводческой практики Левика, приведу в полном смысле слова красочные примеры.

Вот Шиллер:

Видишь, там, где в Дарданеллы
Изумрудный, синий, белый
Геллеспонта плещет вал,
В блеске солнца золотого
Два дворца глядят сурово
Друг на друга с темных скал.

Вот Ленау:

Буря в небо мчится черной тучей,
Крутит прах, шатает лес дремучий,
Воет и свистит над Ниагарой,
Тонкой плетью молнии лиловой
Люто хлещет вал белоголовый,
И бурлит он, полон злобы ярой.

А вот Кольридж:

А там, за тенью корабля,
Морских я видел змей.
Они вздымались, как цветы,
И загорались их следы
Миллионами огней.

Везде, где не ложилась тень,
Их различал мой взор.
Сверкал в воде и над водой
Их черный, синий, золотой
И розовый узор.

Вильгельм Левик много сделал для нашей поэтической культуры. В этом сборнике представлена едва ли двадцатая часть его стихотворных переводов. За пределами книги остались такие капитальные работы, как «Германия», «Атта Троль», «Бимини» Гейне, как «Геро и Леандр» или «Бой с драконом» Шиллера, как «Чайльд Гарольд» и «Беппо» Байрона, как «Романсы о Сиде» Гюго, как «Дядю» и «Любовные сонеты» Мицкевича, как множество стихотворений Петефи.

Важным признаком органичности переводов Левика является

их вторая жизнь — жизнь в других искусствах. МХАТ ставил «Зимнюю сказку» Шекспира в его переводе. «Двух веронцев» ставили вахтанговцы. Эти и другие пьесы Шекспира, «Дон Карлос» Шиллера в переводе В. Левика обошли десятки советских театров. Стих В. Левика прошел труднейшее испытание сценического чтения. Д. Шостакович написал музыку на сонеты Ронсара. Переводы Левика иллюстрировали наши крупнейшие графики.

Творчество В. Левика высоко оценили признанные знатоки переводческого искусства. Вот что писал о нем Корней Иванович Чуковский: «Левик переводит не только ямбы — ямбами, хорей — хорейми, но и вдохновение — вдохновением, красоту — красотой». «Он (Чайльд Гарольд. — Б. С.), — писал Александр Аникст, — вернулся со своим творцом, в новом поэтическом облачении, столь прекрасном, что невольно настраиваешься на возвышенный лад». «В. Левик работает много и упорно. Он завоевал право не только на книгу своих переводов. Еще важнее то, что он вообще завоевал для себя право вести творческий разговор с такими собеседниками, как Гёте и Байрон, Ронсар и Мицкевич». Так утверждает Иван Кашкин.

Мне же остается порадоваться вместе с читателями еще одной встрече с классической зарубежной поэзией — встрече, которая стала возможной благодаря «высокому искусству» Вильгельма Левика.

Борис Слуцкий

* * *

В ручьи среди лужайки *
Я видел рыбок стайки,
Видал огромный мир чудес,
Траву, камыш, и луг, и лес,
Ползущих и летящих
И по земле ходящих,
И знаю, что везде, всегда
Царит жестокая вражда.
И червь, и зверь, и птица
Должны с врагами биться,
И, чтоб в ничтожество не впасть,
Они установили власть.
Поскольку без правленья
Терзают граждан тренья,
Там избран царь, там каждый род
И слуг имеет и господ.
А с вами, немцы, горе,
Вам любо жить в раздоре.
Порядок есть у мух, у пчел,
А немец дрязги предпочел.
Народ мой! Не впервые
Хотят князьки чужие
Твои разрушить рубежи.
Отдай имперский трон Филиппу,
а тем их место укажи!

ПЕСНЬ О ВЕНКЕ *

«Вам, госпожа, венки! —
Красивой девушке сказал я как-то р а з . —
На танцах он бы мог,
Да, он на зависть дамам украсить мог бы вас.
Будь я богат камнями
Цветными, дорогими,

О девушки, прошу прощенья:
Я загляну под ваши украшения —
Ее глаза из-под венка сияли.

ВИНА ЖЕНЩИН *

День за днем страдать, друзья, —
Кто способен этот крест нести?
Не велит воспитанность моя,
А не то бы крикнул: «Счастье, заходи!»
Но у счастья всем ответ один:
Счастье не для тех мужчин,
Что верны навек.
Так чего ж тогда я жду, верный человек?

Боже, что за горький плод
Сам себе взрастил я на беду!
Вся моя порядочность не в счет,
Унижение — все, чего я жду.
Нравы доброй старины
Ныне кажутся и глупы и смешны.
А богатство, честь —
Что ж, для тех, кто злонамерен, все, конечно, есть.

Кто в мужчинах совесть усыпил?
Женщины! Увы, но это так!
Встарь их дух высок и ясен был,
И для них был мир и радостен и благ.
Беспорочна их душа была.
Далеко молва об этом шла.
А теперь беда —
Нравится им тот, в ком нет стыда.

Когда я среди женщин нахожусь,
Что всего обиднее, не скрою:
Чем я вежливей держусь,

Тем они надменнее со мною.
Им порядочность смешна.
Только если женщина достойна и умна
(Эти здесь не в счет),
Больно ей, когда постыдный слух о женщинах
идет.

Но уж если женщина чиста,
Муж достоин — вот счастливый брак.
Их да воспоют мои уста.
Им я лучших пожелаю благ.
И скажу вам, как велит мне честь:
Если мир не станет лучше, чем он есть,
Знайте, жить я буду,
Как мне нравится, а пенье и стихи навек забуду.

ЭЛЕГИЯ *

Увы, промчались годы, сгорели все дотла!
Иль жизнь мне только снилась? Иль впрямь она
была?

Или казалось явью мне то, что было сном?
Так, значит, долго спал я и сам не знал о том.
Мне стало незнакомым все то, что в долгом сне,
Как собственные руки, знакомо было мне.
Народ, страна, где жил я, где рос я бестревожно,
Теперь чужие сердцу, как чуждо все, что ложно.
Дома на месте пашен и выкорчеван бор.
А с кем играл я в детстве, тот ныне стар и хвор.
И только то, что речка еще, как встарь, течет,
Быть может, уменьшает моих печалей счет.
Теперь и не кивнет мне кто прежде был мой друг.
Лишь ненависть и злоба господствуют вокруг.
И стоит мне подумать, зачем ушли они,
Как след весла на влаге, исчезнувшие дни, —
Вздыхаю вновь: увы!

О молодые люди, увы, прошла пора,
Когда, любивший Радость, растил вас дух Двора
И вас теснят заботы, вам изменил поной.
Как радость обернулась нерадостью такой?
Где песни, смех и пляски — задохлись от забот.
Где в мире христианский так низко пал народ?
Не красят женщин ваших уборы головные.
В крестьянском платье ходят и господа иные.
А тут еще и буллу прислали нам из Рима,
И, горе нам оставив, проходит счастье мимо.
Все это мучит, гложет — иль так я сладко жил,
Что смехом только слезы под старость заслужил?
В лесу от наших жалоб печалится и птица,
Так если я печален, увы, чему удивиться!
Но почему, безумец, браню я все кругом:
Кто счастлив в этом мире, тот кается в другом!
И вновь и вновь: увы!

Увы, под маской доброй тая повадку волчью,
Мир угощает медом, который смешан с желчью.
Снаружи мир прекрасен: он зелен, розов, бел.
Но смерть и мрак увидел, кто в глубь его глядел...
Соблазны всех прельщают, надежда тешит всех:
Мол, покаянем легким искупишь тяжкий грех.
О рыцари, вставайте, настал деяний час!
Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас.
Готов за веру биться ваш посвященный меч.
Дай сил и мне, о боже, для новых славных сеч!
Богатую добычу я, нищий, там возьму.
Мне золоте не нужно и земли ни к чему.
Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин,
Небесного блаженства навеки удостоен.
В град божий через море, через валы и рвы!
Я снова пел бы радость и не вздыхал: увы!
Нет, никогда: увы!

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

1749—1832

ПЕСНЬ И СТАТУЯ *

Пусть из глины грек творит,
Движим озареньем,
И восторгами горит
Пред своим твореньем —

Нам глядеть милей в Ефрат,
В водобег могучий,
И рукою поводить
В глубине текущей.

Если грудь огнем полна,
Будет песня спета,
Примет форму и волна
Под рукой поэта.

ФРЕДЕРИКЕ БРИОН

Проснись, восток белеет!
Как яркий день,
Твой взор, блеснув, развеет
Ночную тень.
Вот птицы зазвенели.
Будя сестер,
Поет: «Вставай с постели!» —
Их звонкий хор.

Ты слов не держишь, видно,
Я встал давно.
Проснись же, как не стыдно!
Открой окно!
Чу! Смолкла Филомела,
Всю ночь грустя,
Она смутить не смела
Твой сон, дитя.

Но рдеет на востоке.
Вот луч зари
Твои целует щеки,
О, посмотри!
Нет, ты прильнула к спящей
Сестре твоей
И гредишь вновь — тем слаще,
Чем день светлей.

Ты спишь. Гляжу украдкой,
Как тих твой сон.
Слезой печали сладкой
Я ослеплен.
И кто пройдет спокойный,
Кто будет глух?
Чей может недостойный
Не дрогнуть дух?

Ты спишь. Иль нежной снится —
О, счастье! — тот,
Кто здесь, бродя, томится
И муз клянет,
Краснеет и бледнеет,
Ночей не спит,
Чья кровь то леденеет,
То вновь кипит.

Ты проспала признанья,
Плач соловья,
Так слушай в наказанье:
Вот песнь моя!
Я вырвался из плена
Назревших строф.
Красавица! Камена!
Услышь мой зов!

ФИЛИНА

Полно петь, слезу глотая,
Будто ночь длинна, скучна!
Нет, красотки, тьма ночная
Для веселья создана.

Коль прекрасной половиной
Называют жен мужья,
Что прекрасней ночи длинной —
Половины бытия!

День лишь радости уводит,
Кто же будет рад ему!
Он хорош, когда уходит,
В остальном он ни к чему.

Но когда мерцают свечи,
Озарив ночной уют,
Нежен взор, шутливо речи
И уста блаженство пьют.

И когда за взгляд единый
Ваш ревнивый пылкий друг
С вами рад игре невинной
Посвятить ночной досуг,

И когда поет влюбленным
Песню счастья соловей,
А печальным, разделенным
Горе слышится и в н е й , —

О, тогда клянем недаром
Мы часов бегущих бой,
Что двенадцатым ударом
Возвещает нам покой!

Пусть же всех, кто днем скучали,
Утешает мысль одна:
Если полон день печали,
То веселья ночь полна.

СВИДАНИЕ И РАЗЛУКА

Пора! Призыву сердца внемлю,
И на коня! Во весь опор!
Уже баюкал вечер землю
И ночь легла на склоны гор.
Уже, клубясь и набегая,
Туман одел гигантский вяз,
И сквозь деревья тьма ночная
Глядела сотней черных глаз.

А в небе, сумрачном и мгlistом,
Луна печальная плыла,
И ветер неся с диким свистом,
Взметнув широкие крыла.
Чудовищ сонмы ночь тайла,
Но вдаль звала меня любовь,
В груди росла такая сила,
Таким огнем пылала кровь!

И вся сияя, ты явилась,
Безмолвной нежностью дыша.
Как сердце трепетно забилось,
Как переполнилась душа!
Рассвет играл на тучках алых,
Чуть озарил тебя восток.
Любовь и нежность — как я ждал
их,
Но чем я заслужить их мог!

И первый луч блеснул, ликуя, —
Увы! то был разлуки час.
О сладкий трепет поцелуя,
О грустный блеск любимых глаз!
Я шел, а ты — ты близ дороги
Стояла, волю дав слезам.
Как счастлив, кто любим! Но боги,
Как счастлив тот, кто любит сам!

ЗУЛЕЙКЕ

Чтоб игрою благовоний
Твой порадовать досуг,
Гибнут сотни роз в бутоне,
Проходя горнило мук.

За флакон благоуханий,
Что, как твой мизинец, мал,
Целый мир существований
Безымянной жертвой пал —

Сотни жизней, что дышали
Полнотою бытия
И, волнуясь, предвкушали
Сладость песен соловья.

Но не плачь, из их печали
Мы веселье извлечем.
Разве тысячи не пали
Под Тимуровым мечом!

ПРАВЕДНЫЕ МУЖИ
(Говорит Магомет)

Пусть враги над мертвыми рыдают —
Прах зарыт, и павшим нет возврата.
Наши братья в небо возлетают —
Нам ли плакать над могилой брата!

Семь планет, усопшего встречая,
Золотые распахнут врата,
И душа восходит в кущи рая,
От земного тления чиста.

И трепещет радостью священной,
Глядя в бездны, что раскрылись мне,
Когда я сквозь семь небес вселенной
В рай летел на огненном коне.

Древо мудрых, все в плодах румяных,
Вознеслось превыше кедров там,
Древо жизни на лугах медвяных
Тень дарит неведомым цветам.

Дышит ветер сладостный востоком,
Он приводит хор небесных дев.
Их увидишь изумленным оком —
И уже пылаешь, опьянев.

Девы смотрят — чем велик ты, воин,
Опытом иль буйством юных сил?

Если ты Эдема удостоен,
Ты герой, но что же ты свершил?

Каждая зачтется ими рана,
Ибо в ранах — слава и почет,
Стерла смерть отличья рода, сана
И лишь ран за веру не сотрет.

И тебя уводят в грот прохладный,
В многоцветный лабиринт колонн.
И кипеньем влаги виноградной
Вскоре ты согрет и обновлен.

В каждом вспыхнет молодости сила,
Каждый чист и праведен душой.
Та, что сердце одного пленила,
Станет всем подругой, госпожой.

Лишь к одной, достойнейшей на пире,
Ты влеком не чувственным соблазном:
С ней беседуй в радости и в мире
О высоком, о многообразном.

То одна из гурий, то другая
Кличет гостя к пиру своему.
Право, стоит умереть для рая:
Много жен — и мир в твоём дому!

И скучать о прошлом ты не станешь,
И уйти отсюда не сумеешь.
От подобных женщин не устанешь.
От подобных вин не опьянеешь.

Я поведал кратко о награде,
Ждущей тех, кто в битву шел без страха,
Так пируют в райском вертограде
Праведные воины аллаха.

ГИДЖРА

Север, Запад, Юг в развале,
Пали троны, царства пали,
На Восток отправься дальный
Воздух пить патриархальный,
В край вина, любви и песни,
К новой жизни там воскресни.

Там, наставленный пророком,
Возвратись душой к истокам,
В мир, где ясным, мудрым слогом
Смертный вел беседу с богом,
Обретал без мук, без боли
Свет небес в земном глаголе, —

В мир, где предкам уваженье,
Где чужое — в небреженье,
Где просторно вере правой,
Тесно мудрости лукавой
И где слово вечно ново,
Ибо устным было слово.

Пастухом броди с отарой,
Освежайся под чинарой,
Караван води песками
С кофе, мускусом, шелками,
По безводью да по зною
Непроезжей стороною.

Где тропа тесней, отвесней,
Разгони тревогу песней,
Грянь с верблюда что есть мочи
Стих Гафиза в пропасть ночи,
Чтобы звезды задрожали,
Чтоб разбойники бежали.

На пиру и в бане снова
Ты Гафиза пой святого,
Угадав за покрывалом
Рот, алеющий кораллом,
И склоняя к неге страстной
Сердце гурии прекрасной.

Прочь, завистник, прочь, хулитель,
Ибо здесь певца обитель,
Ибо эта песнь живая
Возлетит к преддверьям рая,
Там тихонько постучится
И к бессмертью приобщится.

СТИХИИ

Чем должна питаться песня,
В чем стихов должна быть сила,
Чтоб внимали им поэты
И толпа их затвердила?

Призовем любовь сначала,
Чтоб любовью песнь дышала,
Чтобы сладостно звучала,
Слух и сердце восхищала.

Дальше вспомним звон стаканов
И рубин вина багряный —
Кто счастливей в целом мире,
Чем влюбленный или пьяный?

Дальше — так учили деда —
Вспомним трубный голос боя,
Ибо в зареве победы,
Словно бога, чтут героя.

Наконец, мы сердцем страстным,
Видя зло, вознегодуем,
Ибо дружим мы с прекрасным,
А с уродливым враждуем.

Слей четыре эти силы
В первобытной их природе —
И Гафизу ты подобен,
И бессмертен ты в народе.

У ВРАТ РАЯ

Гурия

На пороге райских кущей
Я поставлена, как страж.
Отвечай, сюда идущий:
Ты, мне кажется, не наш!

Вправду ль ты Корана воин
И пророка верный друг?
Вправду ль рая удостоен
По достоинству заслуг?

Если ты герой по праву,
Смело раны мне открой,
И твою признаю славу,
И впущу тебя, герой.

Поэт

Распахни врата мне шире,
Не глумись над пришлецом!
Человеком был я в мире,
Это значит — был борцом!

Посмотри на эти раны —
Взором светлым в них прочтешь
И любовных снов обманы,
И вседневной жизни ложь.

Но я пел, что мир невечный
Вечно добр и справедлив,
Пел о верности сердечной,
Верой песню окрылив.

И, хотя платил я кровью,
Был средь лучших до конца,
Чтоб зажглись ко мне любовью
Все прекрасные сердца.

Мне ль не место в райском чине!
Руку дай — и день за днем
По твоим перстам отныне
Счет бессмертью поведем.

ФРИДРИХ ШИЛЛЕР

1759—1805

ПОРУКА

Мерос проскользнул к Дионисию в дом,
Но скрыться не мог от дозорных.
И вот он в оковах позорных.
Тиран ему грозно: «Зачем ты с мечом
За дверью таился, накрывшись плащом?» —
«Хотел я покончить с тираном». —
«Распять в назиданье смутьянам!»

«О царь! Пусть я жизнью своей заплачу —
Приемлю судьбу без боязни.
Но дай лишь три дня мне до казни.
Я замуж сестру мою выдать хочу,
Тебе же, пока не вернусь к палачу,
Останется друг мой порукой.
Солгу — насладись его мукой».

И, злобный метнув на просящего взгляд,
Тиран отвечает с усмешкой:
«Ступай, да смотри же — не мешкай.
Быстрее мгновенья три дня пролетят,
И если ты в срок не вернешься назад,
Его я на муку отправлю,
Тебя ж на свободе оставлю».

И к другу идет он: «Немилостив рок!
Хотел я покончить с проклятым,

И быть мне, как вору, распятым,
Но дал он трехдневный до казни мне срок,
Чтоб замуж сестру мою выдать я мог.
Останься порукой тирану,
Пока я на казнь не предстану».

И обнял без слов его преданный друг
И тотчас к тирану явился,
Мерос же в дорогу пустился.
И принял сестру его юный супруг.
Но солнце обходит уж третий свой круг,
И вот он спешит в Сиракузы,
Чтоб снять с поручителя узы.

И хлынул невиданный ливень тогда.
Уже погружает он посох
В потоки на горных откосах.
И вот он выходит к реке, но беда!
Бурлит и на мост напирает вода,
И груда обломков чугуновых
Гремит, исчезая в бурунах.

Он бродит по берегу взад и вперед,
Он смотрит в смятенье великом,
Он будит безмолвие криком —
Увы, над равниной бушующих вод
Лишь ветер, беснуясь, гудит и ревет.
Ни лодки на бурном просторе,
А волны бескрайны, как море.

И к Зевсу безумный подьѐмлет он взгляд
И молит, отчаянья полный:
«Смири иступленные волны!
Уж полдень, часы беспощадно летят,
А я обещал — лишь померкнет закат,
Сегодня к царю воротиться,
Иль с жизнью друг мой простится».

Но тучи клубятся, и ветер жесток,
И волны сшибаются люто.
Бежит за минутой минута.
И страх наконец в нем решимость зажег:
Он смело бросается в грозный поток,
Валы рассекает руками,
Плывет — и услышан богами.

И снова угрюмою горной тропой
Идет он — и славит Зевеса.
Но вдруг из дремучего леса,
Держа наготове ножи пред собой,
Выходят разбойники буйной толпой,
И, путь преграждая пустынный,
Грозит ему первый дубиной.

И в вопле Мероса — смертельный испуг:
«Клянусь вам, я нищ! не владею
И самую жизньнюю свою!
Оставьте мне жизнь, иль погибнет мой друг!»
Тут вырвал у вора дубину он вдруг,
И шайка спасается в страхе,
Три трупа оставив во прахе.

Как жар сицилийского солнца жесток!
Как ломит колени усталость!
А сколько до цели осталось!
«Ты силы мне дал переплыть чрез поток,
Разбойников ты одолеть мне помог —
Ужель до царя не дойду я
И друга распнет он, ликуя!»

Но что там? Средь голых и выжженных круч
Внезапно журчанье он слышит...
Он верить не смеет, не дышит.
О чудо! Он видит — серебряный ключ,

Так чист и прозрачен, так нежно певуч,
Сверкает и манит омыться,
Гортань освежить и напиться.

И вновь он шагает, минуя в пути
Сады, и холмы, и долины.
Уж тени глубоки и длинны.
Два путника тропкой идут впереди.
Он шаг ускоряет, чтоб их обойти,
И слышит слова их: «Едва ли —
Мы, верно, на казнь опоздали».

Надежда и страх его сердце теснят,
Летят, не идут его ноги.
И вот — о великие боги! —
Пред ним Сиракузы, пылает закат,
И верный привратник его Филострат,
Прождавший весь день на пороге,
Навстречу бежит по дороге.

«Назад, господин! Если друга не спас,
Хоть сам не давайся им в руки!
Его повели уж на муки.
Он верил, он ждал тебя с часу на час,
В нем дружбы священный огонь не погас,
И царь наш в ответ на глумленье
Лишь гордое встретил презренье».

«О, если уж поздно, и он — на кресте,
И предаля друга такого, —
Душа моя к смерти готова.
Зато мой палач не расскажет нигде,
Что друг отказался от друга в беде.
Он кровью двоих насладится,
Но в силе любви убедится».

И гаснет закат, но уж он — у ворот,
И видит он крест на агоре,
Голов человеческих море.
Веревкою связанный, друг его ждет.
И он раздвигает толпу, он идет.
«Тиран! — он кричит. — Ты глумился,
Но, видишь, я здесь! Я не скрылся!»

И в бурю восторженный гул перерос,
Друзья обнялись, и во взоре
У каждого радость и горе,
И нет ни единого ока без слез,
И царь узнает, что вернулся Мерос,
Глядит на смятенные лица,
И чувство в царя шевелится.

И он их велит привести перед трон,
Он влажными смотрит очами.
«Ваш царь побежденный пред вами.
Он понял, что дружба — не призрак, не сон,
И с просьбою к вам обращается он:
На диво грядущим столетьям
В союз ваш принять его третьим».

ПРОШЕНИЕ

Мой дар иссяк. В мозгу свинец,
И докурилась трубка.
Желудок пуст. О мой творец,
Как вдохновенье хрупко!

Перо скребет и на листе
Кроит стихи без чувства.
Где взять в сердечной пустоте
Священный жар искусства?

Как высечь мерзнувшей рукой
Стих из огня и света?
О Феб, ты враг стряпни такой,
Приди, согрей поэта!

За дверью стирка. В сотый раз
Кухарка заворчала.
А я — меня зовет Пегас
К садам Эскуриала.

В Мадрид, мой конь! И вот Мадрид.
О смелых дум свобода!
Дворец Филиппа мне открыт,
Я спешился у входа.

Иду и вижу: там, вдали,
Моей мечты создание,
Спешит принцесса Эболи
На тайное свиданье.

Спешит в объятья принца пасть,
Блаженство предвкушая.
В ее глазах восторг и страсть,
В его — печаль немая.

Уже триумф пьянит ее,
Уже он ей в угоду...
О дьявол! Мокрое белье
Вдруг шлепается в воду!

И нет блистательного сна,
И скрыла тьма принцессу.
Мой бог! Пусть пишет сатана
Во время стирки пьесу!

ФРИДРИХ ГЁЛДЕРЛИН

1770—1843

ГРЕЦИЯ

Если б там, в платановой дубраве,
Где Илисс журчал, обвив холмы,
Где мечтали юноши о славе,
Где Сократ обворожал умы,
Где средь мирт Аспазия блистала,
Где, собрав народ со всех сторон,
Площадь рынка гневом клокотала,
Где Платоном рай был сотворен,

Где весной под солнцем лучезарным
В храм Паллады — к небу из долин —
Шел народ в восторге благодарном
Гимны петь заступнице Афин,
Где меж лир, согретых дивной силой,
Жизнь текла, как сон богов светла, —
Если б там, в былом, тебя, мой милый,
Но не здесь душа моя нашла!

О, тогда б мы встретились иначе:
Вышим вдохновеньем окрылен,
Весь отдавшись радости горячей,
Ты воспел бы гордый Марафон.
Только чувства голосу послушный,
Лавр победы вокруг чела обвив,
Ты б не знал, как в путах жизни душевной
Увядает радости порыв.

Где звезда твоей любви золотая?
Юных сил где розовый рассвет?
Ах, в Элладе ты бы жил, не зная,
Что такое бег неверных лет.
Вечная, как пламень Весты в храме,
Там Любовь вела к добру сердца.
В них, казалось, Геспериды сами
Юность обновляли без конца.

Если б солнцем века золотого
Ты согрет был как Эллады сын,
Ты бы отдал огненное слово
Им, достойным гражданам Афин.
И под звуки чистых песнопений,
Наслаждаясь кровью пьяных лоз,
От страстей, от бури чувств и мнений
Отдыхал бы среди душистых роз.

Верь, не тщетно вместе с братским хором,
Опален высоких дум огнем,
Пел бы ты народу, пред которым
Слезы благодарности мы льем.
Час пробьет. Уйдя в края другие,
Божество покинет смертный прах.
Не найдешь ты родственной стихии,
Дух прекрасный, на земных тропях.

Отблестали Спарта и Афины,
В темный мир ушли богов сыны.
Там, где спят великие руины,
Бродит смерть, как сторож тишины.
И когда, Иллис любя и ныне,
Сходит, улыбаясь, к нам весна, —
В грустной обезлюдившей долине
Братьев не приветствует она.

Дай, судьба, в земле Анакреона
Горестному сердцу моему
Меж святых героев Марафона
В тесном успокоиться дому.
Будь, мой стих, последнею слезою
На пути к святому рубежу!
Присылайте, Парки, смерть за мною —
Царству мертвых я принадлежу.

АДЕЛЬБЕРТ ШАМИССО

1781—1838

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ЛОРДА БАЙРОНА

Байрон здесь! Он здесь, Камен питомец,
Аресом ведомый в битву вновь.
Он героев новых однодомец,
Ибо греки льют за вольность кровь.

Все сердца ему безмерно рады,
Лишь в одном — любимом — чувства нет.
И отвергнут дочерью Эллады
Он, несущий всем народам свет.

«Чту тебя, горжусь тобой, как все мы, —
Молвит дева, бледный лик склоня. —
Требуй византийской диадемы,
Но любви не требуй от меня».

Вслед гонцу, предчувствий темных полный,
К ней, звезде его печальных дней,
Он стремился в бурю через волны —
Ужас охватил его пред ней.

В тяжких муках, боль превозмогая,
Призрачно-прекрасна и бледна,
Саблю сжав, подымется больная,
И беззвучно говорит она:

«С юных лет любовь, как божью кару,
Я ношу в сердечной глубине.

Я вручила саблю паликару,
Как отчизна повелела мне.

Мы прощались не на брачном ложе,
Знали — смерть или победа ждет!
Я сказала: пусть погибну тоже,
Если ты погибнешь за народ.

Вот и смерть! Он пал как храбрый воин,
Мне он саблю отослал свою.
Ты, герой наш, ты, поэт, — достоин:
Я тебе святыню отдаю».

Он, безмолвный, горестно внимает
Слову «яд» из побелевших губ.
И свершилось — Байрон обнимает
Не мечту, а неостывший труп.

С той поры, как вся судьба поэта,
Мрачен взор, лишенный даже слез,
И в могилу — люди помнят это —
Саблю паликара он унес.

ЛЮДВИГ УЛАНД

1787—1862

ПРОКЛЯТИЕ ПЕВЦА

Когда-то гордый замок стоял в одном краю,
От моря и до моря простер он власть свою.
Вкруг стен зеленой кущей сады манили взор,
Внутри фонтаны ткали свой радужный узор.

И в замке том воздвигнул один король свой трон.
Он был угрюм и бледен, хоть славен и силен.
Он мыслил только кровью, повелевал мечом,
Предписывал насильем и говорил бичом.

Но два певца явились однажды в замок тот —
Один кудрями темен, другой седобород.
И старый ехал с арфой, сутулясь на коне,
А юный шел, подобен сияющей весне.

И тихо молвил старый: «Готов ли ты, мой друг?
Раскрой всю глубь искусства, насыть богатством звук.
Излей все сердце в песнях — веселье, радость, боль,
Чтобы душою черствой растрогался король».

Уже певцы в чертоге стоят среди гостей.
Король сидит на троне с супругою своей.
Он страшен, как сиянье полярное в ночи,
Она луне подобна, чьи сладостны лучи.

Старик провел по струнам, и был чудесен звук.
Он рос, он разливался, наполнил все вокруг.
И начал юный голос — то был небесный зов,
И старый влился эхом надмирных голосов.

Они поют и славят высокую мечту,
Достоинство, свободу, любовь и красоту —
Все светлое, что может сердца людей зажечь,
Все лучшее, что может возвысить и увлечь.

Безмолвно внемлют гости преданьям старины,
Упрямые вояки и те покорены.
И королева, чувством захвачена живым,
С груди срывает розу и в дар бросает им.

Но, весь дрожа от злобы, король тогда встает:
«Вы и жену прельстили, не только мой народ!»
Он в ярости пронзает грудь юноши мечом,
И вместо дивных песен кровь хлынула ключом.

Смутясь, исчезли гости, как в бурю листьев рой.
У старика в объятьях скончался молодой.
Старик плащом окутал и вынес тело прочь,
Верхом в седле приладил и с ним пустился в ночь.

Но у ворот высоких он, задержав коня,
Снял арфу, без которой не мог прожить и дня.
Ударом о колонну разбил ее певец,
И вопль его услышан был из конца в конец.

«Будь проклят, пышный замок! Ты в мертвой тишине
Внимать вовек не будешь ни песне, ни струне.
Пусть в этих залах бродит и стонет рабий страх,
Покуда ангел мести не обратит их в прах!

Будь проклят, сад цветущий! Ты видишь мертвеца?
Запомни чистый образ убитого певца.
Твои ключи иссякнут, сгниешь до корня ты,
Сухой бурьян задушит деревья и цветы.

Будь проклят, враг поэтов и песен супостат!
Венцом, достойным славы, тебя не наградят,
Твоя сотрется память, пустым растает сном,
Как тает вздох последний в безмолвии ночном».

Так молвил старый мастер. Его услышал бог.
И стены стали щебнем, и прахом стал чертог.
И лишь одна колонна стоит еще стройна,
Но цоколь покосился, и треснула она.

А где был сад зеленый, там сушь да зной песков,
Ни дерева, ни тени, ни свежих родников.
Король забыт — он призрак без плоти, без лица.
Он вычеркнут из мира проклятием певца.

ЖНИЦА

«День добрый, Мария! Так рано уже за работой!
Хоть ты влюблена, а работаешь с прежней охотой.
Попробуй — в три дня за болотом скоси луговину.
Клянусь, я в супруги отдам тебя старшему сыну!»

Так молвил помещик, и, речи услышав такие,
Как птица, забилося влюбленное сердце Марии.
Явилась в руках ее новая, чудная сила.
Как пела коса в них, как шумные травы косила!

Уж полдень пылает. Жнецы притомились, устали,
К ручью потянулись, в тени собрались на привале.
Лишь трудятся пчелы, жужжат и не знают покоя.
И трудится с ними Мария, не чувствуя зноя.

Спускается вечер, разносится звон колокольный,
Соседи кричат ей: «Бросай! На сегодня довольно!»
Прошло уже стадо, и время косцам расходиться.
Но, косу отбив, продолжает Мария трудиться.

Вот звезды зажглись, засверкали вечерние росы,
Запел соловей, и сильнее запахло покосы.
Мария не слушает пенья, без отдыха косит,
Без отдыха косу над влажной травой заносит.

Так ночь миновала, и солнце взошло над вселенной.
Не пьет и не ест она, сытая верой блаженной.
Но третьим рассветом просторы зажглись луговые,
И косу бросает, и радостно плачет Мария.

«Здорово, Мария! Скосила? Ну, ты молодчина!
Тебя награжу я богато, но замуж за сына...
Глупышка! Да это ведь в шутку я дал тебе слово.
Как сердце влюбленное сразу поверить готово!»

Сказал и пошел. У Марии в глазах потемнело.
Прилежные руки бессильно повисли вдоль тела.
Все чувства затмились, дыханье пресекалось от боли.
Такой, возвращаясь, нашли ее женщины в поле.

Текут ее годы в безмолвном, глухом умиранье.
И ложечка меда — дневное ее пропитанье.
О, пусть на лугу на цветущем ей будет могила!
Где в мире есть жница, которая так бы любила!

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

1797—1856

* * *

Не знаю, что стало со мною —
Душа моя грустью полна.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.

День меркнет. Свежеет в долине,
И Рейн дремотой объят.
Лишь на одной вершине
Еще пылает закат.

Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна.

И, силой плененный могучей,
Гребец не глядит на волну.
Не смотрит на рифы под кручей,
Он смотрит туда, в вышину.

Я знаю, волна, свирепая,
Навеки сомкнется над ним,

И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.

* * *

Печаль, печаль в моем сердце,
А май расцветает кругом!
Стою под липой зеленой,
На старом валу крепостном.

Внизу канал обводный
На солнце ярко блестит.
Мальчишка едет в лодке,
Закинул лесу — и свистит.

На том берегу пестреют,
Как разноцветный узор,
Дома, сады и люди,
Луга, и коровы, и бор.

Служанки белье полощут,
Звенят их голоса.
Бормочет мельница глухо,
Алмазы летят с колеса.

А там — караульная будка
Под башней стоит у ворот,
И парень в красном мундире
Шагает взад и вперед.

Своим ружьем он играет,
Горит на солнце ружье.
Вот вскинул, вот взял на мушку —
Стреляй же в сердце мое!

* * *

Поднявшись над зеркалом Рейна,
Глядится в зыбкий простор
Святыня великого Кельна,
Великий старый собор.

И есть в том соборе мадонна,
По золоту писанный лик,
Чей кроткий свет благосклонно
В мой мир одичалый проник.

Вкруг девы цветы, херувимы
Парят в золотых небесах,
И явное сходство с любимой
В улыбке, в губах и глазах.

* * *

Дурные, злые песни,
Печали прошлых лет,
Я вас похоронил бы,
Да только гроба нет.

Не спрашивайте, люди,
Что сгинуть в нем могло б.
Мне гейдельбергской бочки
Обширней нужен гроб.

Еще нужны носилки,
Но из таких досок,
Что больше моста в Майнце
И вдоль и поперек.

Тогда двенадцать братьев
Зовите из-за гор —

Тех, что сильней и выше,
Чем кельнский Христофор

Пусть этот гроб громадный
Закинут с крутизны
В громадную могилу,
В простор морской волны.

А знаете, вы, люди,
На что мне гроб такой?
В него любовь и горе
Сложу я на покой.

* * *

В серый плащ укрылись боги,
Спят, ленивцы, непробудно,
И храпят, и дела нет им,
Что швыряет буря судно.

А ведь правда, будет буря —
Вот скорлупке нашей горе!
Не взнуздаешь этот ветер,
Не удержишь это море!

Ну и пусть рычит и воет,
Пусть ревет хоть всю дорогу.
Завернусь я в плащ мой верный
И усну, подобно богу.

* * *

Сердитый ветер надел штаны,
Свои штаны водяные,
Он волны хлещет, а волны черны,
Бегут и ревут как шальные.

Потопом обрушился весь небосвод,
Гуляет шторм на просторе
Вот-вот старуха ночь зальет,
Затопит старое море!

О снасти чайка бьется крылом,
Дрожит и спрятаться хочет,
И хрипло кричит — колдовским языком
Несчастье нам пророчит.

* * *

Красавица рыбачка,
Причаливай сюда!
Сядь возле меня, поболтаем,
Ну что ты робеешь всегда?

Не бойся, дай мне руку,
Склонись на сердце ко мне.
Ты в море привыкла вверяться
Изменчивой бурной волне.

А в сердце моем, как в море,
И ветер поет, и волна,
И много прекрасных жемчужин
Таит его глубина.

* * *

Мы возле рыбацкой лачуги
Сидели вечерней порой.
Уже темнело море,
Вставал туман сырой.

Вот огонек блестящий
На маяке зажгли,

И снова белый парус
Приметили мы вдали.

Мы толковали о бурях,
О том, как мореход
Меж радостью и страхом,
Меж небом и морем живет;

О юге, о севере снежном,
О зное дальних степей,
О странных, чуждых нравах
Чужих, далеких людей.

Над Гангом звон и щебет,
Гигантский лес цветет;
Пред лотосом клонит колени
Прекрасный, кроткий народ.

В Лапландии грязный народец —
Нос плоский, рост мал, жабий рот —
Сидит у огня, варит рыбу,
И квакает, и орет.

Задумавшись, девушки смолкли,
И мы замолчали давно...
А парус пропал во мраке,
Стало совсем темно.

* * *

Вдали туманной картиной,
Как память давних лет,
Встает многобашенный город,
Вечерней дымкой одет.

Под резким ветром барашки
Бегут по свинцовой реке.

Печально веслами плещет
Гребец в моем челноке.

Прощаясь, вспыхнуло солнце,
И хмурый луч осветил
То место, где все потерял я,
О чем мечтал и грустил.

* * *

Когда мне семью моей милой
Случилось в пути повстречать,
Все были так искренне рады:
Отец, и сестренка, и мать.

Спросили, как мне живется
И как родные живут.
Сказали, что я все такой же
И только бледен и худ.

И я расспросил — о кузинах,
О тетках, о скучной родне,
О песике, лаявшем звонко,
Который так нравился мне.

И после о ней — о замужней —
Спросил невзначай: где она?
И дружески мне сообщили:
Родить через месяц должна.

И дружески я поздравлял их,
И я передал ей привет,
Я пожелал ей здоровья
И счастья на много лет.

«А п е с и к, — вскричала сестренка, —
Большим и злющим стал,
Его утопили в Рейне,
А то бы он всех искусал».

В малютке с возлюбленной сходство,
Я тот же смех узнаю
И те же глаза голубые,
Что жизнь загубили мою.

ИЗ ПОЭМЫ «ГЕРМАНИЯ»

Из Кельна в семь сорок пять утра
Я снова пустился в дорогу.
Мы в Гаген прибыли около трех.
Теперь — закусим немного!

Накрыли. Весь старонемецкий стол
Найдется здесь, вероятно.
Сердечный привет тебе, свежий салат,
Как пахнешь ты ароматно!

Каштаны с подливкой в капустных листьях,
Я в детстве любил не вас ли?
Здорово, моя родная треска,
Как мудро ты плаваешь в масле!

Кто к чувству способен, тому всегда
Аромат его родины дорог.
Я очень люблю копченую сельдь,
И яйца, и жирный творог.

Как бойко плясала в жиру колбаса!
А эти дрозды-милашки,
Амурчики в муссе, хихикали мне,
Лукавые строя мордашки.

«Здорово, земляк! — щебетали о н и . —
«Ты где же так долго носился?
Уж, верно, ты в чужой стороне
С чужою птицей водился?»

Стояла гусыня на столе,
Добродушно-простая особа.
Быть может, она любила меня,
Когда мы были молоды оба.

Она, подмигнув значительно мне,
Так нежно, так грустно смотрела!
Она обладала красивой душой,
Но у ней было жесткое тело.

И вот наконец поросенка внесли,
Он выглядел очень мило.
Доныне лавровым листом у нас
Венчают свиные рыла!

* * *

Меня вы редко понимали,
И редко понимал я вас,
Но только вместе в грязь попали,
Друг друга поняли тотчас.

* * *

Пока изливал я вам скорбь и печали,
Вы, все, безнадежно зевая, молчали,
Но только я в рифмах заворковал,
Наговорили вы кучу похвал.

* * *

Дождь, ветер — ну что за погода!
И, кажется, снег ко всему.
Сижу и гляжу в окошко,
В сырую осеннюю тьму.

Дрожит огонек одинокий
И словно плывет над землей.
Старушка, держа фонарик,
Бредет по лужам домой.

Купила, наверное, в лавке
Яиц и масла, муки
И хочет старшей внучке
На завтра спечь пирожки.

А внучка сонно шурясь,
Сидит в качалке, одна.
Закрыла нежный румянец
Волос золотая волна.

* * *

Беззвездно черное небо,
А ветер так и ревет.
В лесу, среди шумящих деревьев,
Брожу я всю ночь напролет.

Вон старый охотничий домик.
В окошке еще светло,
Но нынче туда не пойду я —
Там все вверх дном пошло.

Слепая бабушка в кресле
Молча сидит у окна.
Сидит, точно каменный идол,
Недвижна и страшна.

А сын лесничего рыжий,
Ругаясь, шагает кругом,
Ружьем хватил об стенку,
Кому-то грозит кулаком.

Красавица дочка за прялкой
Не видит пряжи от слез,
К ногам ее с тихим визгом
Жметя отцовский пес.

* * *

Юность кончена. Приходит
Дерзкой зрелости пора,
И рука смелее бродит
Вдоль прелестного бедра.

Не одна, вспылив сначала,
Мне сдавалась, ослабев.
Лесть и дерзость побеждала
Ложный стыд и милый гнев.

Но в блаженствах наслажденья
Прелесть чувства умерла.
Где вы, сладкие томленья,
Робость юного осла?

* * *

Как из тучи светит месяц
В темно-синей вышине,
Так одно воспоминанье
Где-то в сердце светит мне.

Мы на палубе сидели,
Гордо плыл нарядный бог.
Над широким, вольным Рейном
Рдел закатом небосвод.

Я у ног прекрасной дамы
Зачарованный сидел.
На щеках ее румянцем
Яркий луч зари блестел.

Вторил арфам звонкий хор.
Волны рдели, струны пели,

Шире сердце раскрывалось,
Выше синий влек простор.

Горы, замки, лес и доли
Мимо плыли, как во сне,
И в глазах ее прекрасных
Это все сияло мне.

* * *

На бульварах Саламанки
Воздух свежий, благовонный.
Там весной, во мгле вечерней
Я гуляю с милой донной.

Стройный стан обвив рукою
И впивая нежный лепет,
Пальцем чувствую блаженным
Гордой груди томный трепет.

Но шумят в испуге липы,
И ручей внизу бормочет,
Словно чем-то злым и грустным
Отравить мне сердце хочет.

— Ах, сеньора, чует сердце,
Исключен я буду скоро.
По бульварам Саламанки
Не гулять уж нам, сеньора.

* * *

Вот сосед мой дон Энрикец,
Саламанкских дам губитель.
Только стенка отделяет
От меня его обитель.

Днем гуляет он, красоток
Обжигая гордым взглядом.
Вьется ус, бряцают шпоры,
И бегут собаки рядом.

Но в прохладный час вечерний
Он сидит, мечтая, дома,
И в руках его гитара,
И в груди его истома.

И как хватит он по струнам,
Как задаст им, бедным, жару!
Чтоб тебе холеру в брюхо
За твой голос и гитару.

* * *

И если ты станешь моей женой,
Все кумушки лопнут от злости.
То будет не жизнь, а праздник сплошной:
Подарки, театры и гости.

Ругай меня, бей — на все я готов,
Мы брань прекратим поцелуем.
Но если моих не похвалишь стихов,
Запомни: развод неминуем!

* * *

Вчера мне любимая снилась,
Печальна, бледна и худа.
Глаза и щеки запали,
Былой красоты — ни следа.

Она вела ребенка,
Другого несла на руках.

В походке, в лице и движеньях —
Униженность, горе и страх.

Я шел за ней через площадь,
Окликнул ее за углом,
И взгляд ее встретил, и тихо
И горько сказал ей: «Пойдем!

Ты так больна и несчастна,
Пойдем же со мною в мой дом.
Тебя окружу я заботой,
Своим прокормлю трудом.

Детей твоих выведу в люди,
Тебя ж до последнего дня
Буду кормить и лелеять —
Ведь ты как дитя у меня.

И верь, докучать я не стану,
Любви не буду молить.
А если умрешь, на могилу
Приду я слезы лить».

* * *

Влачусь по свету желчно и уныло.
Тоска в душе, тоска и смерть вокруг.
Идет ноябрь, предвестник зимних вьюг,
Сырым туманом землю застелило.

Последний лист летит с березы хилой,
Холодный ветер гонит птиц на юг.
Вздыхает лес, дымится мертвый луг.
И — боже мой! — опять заморосило.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Женское тело — те же стихи!
Радуясь дням созиданья,
Эту поэму вписал Господь
В книгу судеб мирозданья.

Был у Творца великий час,
Его вдохновенье созрело.
Строптивный, капризный материал
Оформил он ярко и смело.

Воистину женское тело — песнь,
Высокая песнь песней!
Какая певучесть и стройность во всем!
Нет в мире строф прелестней.

Один лишь Вседержитель мог
Такую сделать шею
И голову дать — эту главную мысль —
Кудрявым возглавьем над нею.

А груди! Задорней любых эпиграмм
Бутоны их роз на вершине.
И как восхитительно к месту пришлась
Цезура посредине.

А линии бедер; как решена
Пластическая задача!
Вводная фраза, где фиговый лист —
Тоже большая удача.

А руки и ноги! Тут кровь и плоть,
Абстракции тут не годятся,
Губы — как рифмы, но могут при том
Шутить, целовать и смеяться.

Сама Поэзия во всем,
Поэзия — все движенья.
На гордом челе этой песни печать
Божественного свершенья.

Господь, я славлю гений твой
И все его причуды,
В сравненье с тобою, небесный поэт,
Мы жалкие виршеблуды.

Сам изучал я песнь твою,
Читал ее снова и снова.
Я тратил, бывало, и день и ночь,
Вникая в каждое слово.

Я рад ее вновь и вновь изучать,
И в том не вижу скуки.
Да только высохли ноги мои
От такой науки.

* * *

Землю губит злой недуг.
Расцветет — и вянет вдруг
Все, что свежестью влекло,
Что прекрасно и светло.

Видно, стал над миром косным
Самый воздух смертоносным
От миазмов ядовитых
Предрассудков неизжитых.

Налетев слепую силой,
Розы женственности милой
От весны, тепла и света
Смерть уносит в день расцвета.

Гордо мчащийся герой
В спину поражен стрелой
И, забрызганные ядом,
Лавры достаются гадам.

Чуть созревшему вчера —
Завтра гнить придет пора,
И, послав проклятье миру,
Гений разбивает лиру.

О, недаром от земли
Звезды держатся вдали,
Чтоб земное наше зло
Заразить их не могло.

Нет у мудрых звезд желанья
Разделить с людьми страданья,
Позабывать, как род людской,
Свет и счастье, жизнь, покой.

Нет желанья вязнуть в тине,
Погибать, как мы, в трясине
Или жить в помойной яме,
Полной смрадными червями.

Их приют в лазури тихой,
Над земной неразберихой,
Над враждой, нуждой и смертью,
Над проклятой коловертью.

Сострадания полны,
Молча смотрят с вышины.
И слезинка золотая
Наземь падает, блистая.

1649—1793—???

Невежливей, чем британцы, едва ли
Цареубийцы на свете бывали.
Король их Карл, заточен в Уайтхолл,
Бессонную ночь перед казнью провел:
Глумясь, у ворот веселился народ,
И с грохотом строили эшафот.

Французы немногим учтивее были:
В простом фиакре Луи Капета
Они на плаху препроводили,
Хотя, по правилам этикета,
Даже и при такой развязке
Надо возить короля в коляске.

Еще было хуже Марии-Антуанетте:
Бедняжке совсем отказали в карете.
Ее в двуколке на эшафот
Повез не придворный, а санюлот.
Дочь Габсбурга рассердилась немало
И толстую губку надменно поджала.

Французам и бриттам сердечность чужда.
Сердечен лишь немец во всем и всегда.
Он будет готов со слезами во взоре
Блюсти сердечность и в самом терроре.
А оскорбить монарха честь
Его не вынудит и месть.

Карета с гербом, с королевской короной,
Шестеркою кони под черной попоной,
Весь в трауре кучер, и плача притом,
Взмахнет он траурно-черным кнутом —
Так будет король наш на плаху доставлен
И всепокорнейше обезглавлен.

НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

1

Сам суперкарго мингер ван Кук
Сидит, погруженный в заботы.
Он калькулирует груз корабля
И проверяет расчеты.

«И гумми хорош, и перец хорош —
Всех бочек больше трех сотен.
И золото есть, и кость хороша,
И черный товар добротен.

Шестьсот чернокожих задаром я взял
На берегу Сенегала.
У них сухожилия — как толстый канат,
А мышцы — тверже металла.

В уплату пошло дрянное вино,
Стеклярус да сверток сатина.
Тут виды — процентов на восемьсот,
Хотя б умерла половина.

Да, если триста штук доживет
До гавани Рио-Жанейро,
По сотне дукатов за каждого мне
Заплатит Гонзалес Перейро».

Так предается мингер ван Кук
Мечтам, но в эту минуту
Заходит к нему корабельный хирург
Герр ван дер Смиссен в каюту.

Он сух, как палка. Малиновый нос
И три бородавки под глазом.

«Ну, эскулап мой! — кричит ван Кук. —
Не скучно ль моим черномазым?»

Доктор, отвесив поклон, говорит:
«Не скрою печальных известий.
Прошедшей ночью весьма возросла
Смертность среди этих бестий.

На круг умирало их по двое в день,
А нынче семеро пали —
Четыре женщины, трое мужчин.
Убыток проставлен в журнале.

Я трупы, конечно, осмотру подверг —
Ведь с этими шельмами горе:
Прикинется мертвым да так и лежит
С расчетом, что вышвырнут в море.

Я цепи со всех покойников снял
И утром, поближе к восходу,
Велел, как мною заведено,
Дохлятину выкинуть в воду.

На них налетели, как мухи на мед,
Акулы — целая масса.
Я каждый день их снабжаю пайком
Из негритянского мяса.

С тех пор как бухту покинули мы,
Они плывут подле борта.
Для этих каналов вонючий труп
Вкуснее всякого торта.

Занятно глядеть, с какой быстротой
Они учиняют расправу.
Та в ногу вцепится, та — в башку,
А этой лохмотья по нраву.

Нажравшись, они подплывают опять
И пялят в лицо мне глазищи,
Как будто хотят изъяснить свой восторг
По поводу лакомой пищи.

Но тут ван Кук со вздохом сказал;
«Какие ж вы приняли меры?
Как нам убыток предотвратить
Иль снизить его размеры?»

И доктор ответил: «Свою беду
Накликали черные сами.
От их дыханья в трюме смердит
Хуже, чем в свалочной яме.

Но часть, безусловно, подохла с тоски —
Им нужен какой-нибудь роздых.
От скуки безделья лучший рецепт —
Музыка, танцы и воздух».

Ван Кук вскричал: «Дорогой эскулап!
Совет ваш стоит червонца.
В вас Аристотель воскрес, педагог
Великого македонца!

Клянусь, даже первый в Дельфте мудрец,
Сам президент комитета
По улучшенью тюльпанов — и тот
Не дал бы такого совета!

Музыку! Музыку! Люди, наверх!
Ведите черных на шканцы,
И пусть веселятся под розгами те,
Кому неуютны танцы!»

В бездонной лазури миллионы звезд
Горят над простором безбрежным.
Глазам красавиц подобны они,
Загадочным, грустным и нежным.

Они, любуясь, глядят в океан,
Где, света подводного полны,
Фосфоресцируя в розовой мгле,
Шумят сладострастные волны.

На судне свернуты паруса,
Оно лежит без оснастки,
Но палуба залита светом свечей —
Там пенье, музыка, пляски.

На скрипке пиликает рулевой,
Доктор на флейте играет,
Юнга неистово бьет в барабан,
Кок на трубе завывает.

Сто негров, танцуя, беснуются там —
От грохота, звона и пляса
Им душно, им жарко, и цепи, звеня,
Впиваются в черное мясо.

От бешеной пляски судно гудит,
И, с темным от похоти взором,
Иная из черных красоток, дрожа,
Сплетается с голым партнером.

Надсмотрщик — maître de plaisirs,
Он хлещет каждое тело,
Чтоб не ленились танцоры плясать
И не стояли без дела.

И ди-дель-дум-дей и шнед-дере-денг!
На грохот, на гром барабана
Чудовища вод, пробуждаясь от сна,
Плывут из глубин океана.

Спросонья акулы тянутся вверх,
Ворочая туши лениво,
И одурело таращат глаза
На небывалое диво.

И видят, что завтрака час не настал,
И, чавкая сонно губами,
Протяжно зевают — их пасть, как пила,
Усажена густо зубами.

И шнед-дере-денг и ди-дель-дум-дей —
Все громче и яростней звуки!
Акулы кусают себя за хвост
От нетерпенья и скуки.

От музыки их, вероятно, тошнит,
От этого гама и звона.
«Не любящим музыки тварям не верь», —
Сказал поэт Альбиона.

И ди-дель-дум-дей и шнед-дере-денг —
Все громче и яростней звуки!
Стоит у мачты мингер ван Кук,
Скрестив молитвенно руки.

«О господи, ради Христа пощади
Жизнь этих грешников черных!
Не гневайся, боже, на них, ведь они
Глупей скотов безнадзорных.

Помилуй их ради Христа, за нас
Испившего чашу позора!
Ведь если их выживет меньше трехсот,
Погибла моя контора!»

* * *

Как медлит время, как ползет
Оно чудовищной улиткой!
А я лежу не шевелясь,
Терзаемый все той же пыткой.

Ни солнца, ни надежды луч
Не светит в этой темной келье,
И лишь в могилу, знаю сам,
Отправлюсь я на новоселье.

Быть может, умер я давно,
И лишь видения бывшего
Толпою пестрой по ночам
В мозгу моем проходят снова.

Иль для языческих богов,
Для призраков иного света
Ареной оргий гробовых
Стал череп мертвого поэта?

Из этих страшных, сладких снов,
Бегущих в буйной переключке,
Поэта мертвая рука
Стихи слагает по привычке.

* * *

Завидовать жизни любимцев судьбы
Смешно мне, но я поневоле
Завидовать их смерти стал —
Кончине без муки, без боли.

В роскошных одеждах, с венком на челе,
В разгаре веселого пира,
Внезапно скошенные серпом,
Они уходят из мира.

И в праздничном платье, с цветами в кудрях,
Неувядаемо юны,
Являются в грустное царство теней
Все фавориты Фортуны.

Сухотка их не извела,
У мертвых приличная мина.
Достойно вводит их в свой круг
Царевна Прозерпина.

Завидный жребий! А я семь лет,
С недугом тяжким в теле,
Терзаюсь — и не могу умереть,
И корчусь в моей постели.

О господи, пошли мне смерть,
Внемли моим рыданиям!
Ты сам ведь знаешь, у меня
Таланта нет к страданиям.

Прости, но твоя нелогичность, господь,
Приводит в изумленье:
Ты создал поэта-весельчака
И портишь ему настроенье!

От боли веселый мой нрав зачах —
Ведь я уже меланхолик.
Кончай эти шутки, не то из меня
Получится католик.

Тогда я вой подниму до небес
По обычаю добрых папистов.
Не допусти, чтоб так погиб
Умнейший из юмористов.

ENFANT PERDU

Как часовой, на рубеже Свободы
Лицом к врагу стоял я тридцать лет.
Я знал, что здесь мои промчатся годы,
И я не ждал ни славы, ни побед.

Пока друзья храпели беззаботно,
Я бодрствовал, глаза вперив во мрак.
(В иные дни прилег бы сам охотно,
Но спать не мог под храп лихих вояк.)

Порой от страха сердце холодело
(Ничто не страшно только дураку!) —
Для бодрости высвистывал я смело
Сатиры злой звенящую строку.

Ружье в руке, всегда на страже ухо —
Кто б ни был враг, ему один конец!
Вогнал я многим в мерзостное брюхо
Мой раскаленный, мстительный свинец.

Но что таить! И враг стрелял порою
Без промаха — забыл я ранам счет.
Теперь — увы! я все равно не скрою —
Слабеет тело, кровь моя течет...

Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал — идут другие вслед.
Я не сдаюсь! Мое оружие цело!
Мой верен глаз! Но в сердце крови нет...

АЛЬБРЕХТ ГАУСГОФЕР

1903—1945

ВОРОБЬИ

Порой моя тюремная решетка
Приманивает с воли двух гостей:
То уличный задира воробей
И с ним его пернатая красотка.

У них любовь: то споры, то смешки,
То клювом в клюв — и как начнут шептаться!
Соперник и не пробуй подобраться,
Конфликт решится битвой, по-мужски.

Как странно здесь, в цепях, в тюремной щели,
Глядеть на них, свободных! Но за мной
Следит глазок блестящий и живой —
Чирикнули, вспорхнули, улетели.

И вновь один я, вновь гляжу в окно...
Зачем мне птицей быть не суждено!

АЛЬФРЕД ШМИДТ-ЗАСС

1901—1943

ПЕСНЬ О ЖИЛИЩЕ МЕРТВЕЦОВ

Дом номер три на Плётце. Не светит никогда
Над ним звезда, и птица не залетит сюда.
Псы лают. Визг засова.
Час ужаса ночного —
И кто-то плачет снова
В жилище мертвецов.

Висит топор голодный, сталь матово блестит,
Он рубит превосходно, но не бывает сыт.
Лай в отдаленье замер,
То смерть прошла вдоль камер,
Назначив жертвы снова
В жилище мертвецов.

Прикован к жестким доскам, кто там лежит без сна,
Всю ночь терзаясь в думах, хоть ночь длинна, длинна.
Псы лают. Визг засова.
Час ужаса ночного —
И кто-то плачет снова
В жилище мертвецов.

Кто в мыслях обнимает детей, жену и мать,
Хотя ему вовеки семьи не увидеть.
Лай в отдаленье замер,
То смерть прошла вдоль камер,
Назначив жертвы снова
В жилище мертвецов.

Кому лишь деревянный дается нож в обед,
Кто зеркала не знает, на ком подтяжек нет.
Псы лают. Визг засова.
Час ужаса ночного —
И кто-то плачет снова
В жилище мертвецов.

Кто — труп живой в оковах — сквозь узкий коридор
На краткую прогулку выходит в тесный двор.
Лай в отдаленье замер,
То смерть прошла вдоль камер,
Назначив жертвы снова
В жилище мертвецов.

Не верь пустой надежде, ты, брошенный в тюрьму,
Не человек ты больше, ты — номер, ты — Т. У.¹
Псы лают, визг засова,
Час ужаса ночного —
И кто-то плачет снова
В жилище мертвецов.

Ах, сторож, ты не знаешь, какая благодать
Хоть взгляд живой увидеть, хоть слово услышать.
Лай в отдаленье замер,
То смерть прошла вдоль камер,
Назначив жертвы снова
В жилище мертвецов.

Гни спину — клей пакеты да набивай табак.
И вот закат последний, а завтра — вечный мрак.
Псы лают. Визг засова.
Час ужаса ночного —
И кто-то плачет снова
В жилище мертвецов.

¹ Сокращенное от Todesurteil (нем.) — смертный приговор.

Вдруг чей-то крик за дверью, сквозь гулкий коридор:
«Кончай возню! Раздеться и веселей во двор!»
Лай в отдаленье замер,
То смерть прошла вдоль камер,
Назначив жертвы снова
В жилище мертвецов.

Кто за людское счастье боролся с юных лет,
Тому здесь нет пощады и даже гроба нет.
Псы лают. Визг засова.
Час ужаса ночного —
И кто-то плачет снова
В жилище мертвецов.

Но если трубы грянут: «Вставайте все на суд!»
И те, кто обезглавлен, они придут, придут!
За то, что претерпели,
Что сдаться не хотели,
За стойкость в правом деле
Судья им все простит.

Их головы на шеях кой-как опять сидят,
Проходят длинным строем, блестит их светлый взгляд.
За то, что претерпели,
Что сдаться не хотели,
За стойкость в правом деле
Народ их свято чтит.

Кто создал эту песню — и музыку сложил.
Он спел ее в сочельник, а больше он не жил.
Так песню подхватите
И всех вы помяните,
Кто борется доньше
В жилище мертвецов.

Тюрма Плётцензее. Камера смертников. 1943

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

1891—1958

* * *

Ответь, ужель мы нежность языка
Узнали в первом материнском слове
Лишь для того, чтобы в потоках крови
Все нежное забылось на века!

Ужель сплотил язык немецкий нас,
Чтобы вражда разъединила снова,
Чтоб немец лгал, толкуя немца слово,
И смысл его в бессмыслице угас!

Иль не довольно плакать на могилах,
И крови прах пропитывать земной,
И тосковать покинутым и сирым?

Иль вы лжецов остановить не в силах,
Вы все, кого лишь обольщают миром,
Чтоб друг на друга повести войной?

ВЫСОКИЕ СТРОЕНЬЯ

Я строю стихи. Я строгаю в них строки.
Я в ритм обращаю металл и гранит,
Чтоб фразы воздвиглись, легки и высоки,
В Грядущее, в Вечность, в лазурный Зенит.

Вам, зодчие, вам, архитекторы, слава!
Строители — вам! Основатели — вам!

Вовеки да зиждется ваша держава
И каждый ваш, гением созданный, храм!

Я строю стихи. Эти строфы — опоры.
Над ними, как купол, я Мысль подниму.
Те строфы — как хмель, обвивающий хоры,
А эти ворвутся, как свет в полутьму.

Услышьте, ответьте через века мне,
Вы, шедшие в Вечность по сферам небес,
Стратеги симфоний, разыгранных в камне,
Вершители явленных в камне чудес!

Я строю стихи, сочетаю, слагаю,
Я мыслю и число, всходя в облака.
Я строю стихи, я стихи воздвигаю,
Чтоб гимном всемирным наполнить века.

БЕЛОЕ ЧУДО

*Посвящается
гению Мориса Утрилло*

Белы березы, и белы седины,
Бело крыло, и грудь как снег бела,
И платье бело, и белы куртины,
И белым стужа землю замела.

Белы ракушки, и белы рубашки,
И бел налет на плесени, и мел,
И небо в зной, и на волнах барашки,
И на пути горячий камень бел.

А за окном белеют занавески,
Как лед в горах, как яблонь цвет живой,
Как в лунной мгле поля и перелески,
Иль краски все убил он, белый твой?

Гранит и мрамор, шаткие ступени,
Сухих костей чуть желтоватый цвет,
Цвет камбалы, и белый цвет сирени,
И все — мечта, и ей предела нет.

В молочной тьме — белеющее море,
Крик чайки, пляж — как снега полоса,
И голос флейты в соловьином хоре,
И лунный свет, и ночь, и паруса.

Иль белый твой — для красок возрожденье?
О, цвет весны!.. О, сны в лучах луны!..
Сады плывут, как белое виденье...
О, белый мир! О, чудо белизны!

ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

Вслед незнакомцам, проложившим в чаще
Свой лыжный путь, лечу сквозь белый лес.
Весь в колеях, узорчат снег блестящий,
Но вот их след бледнеет — он исчез.

И лишь за мной, чернея, лента вьется
Дорогой в неоткрытые края.
А белый лес ко мне теснее жметя.
Сбивает снег с ветвей рука моя.

И лес растет, встает громадой белой,
Под снеговой толщей погребен.
И я кричу, но звук оледенелый
В молчанье замер, как надгробный звон.

В еще безвольном солнечном сиянье
Снегов лесных не тает волшебство,
Но тишина звучит, как обещанье,
Что солнца жар испепелит его.

О, странный бег без времени, без цели!
Спешишь домой, но в сердце длится бег.
Волшебный лес, где звуки онемели,
Увлеч тебя в волшебный плен навек.

Я слышу звон веселых песен мая
И птичий гам под солнцем теплых дней.
По временам пушистый ком сбивая
С настороженных вспугнутых ветвей.

БАХ

Еще готовясь, медлит звуков хор.
Надвинется — и отступает снова.
Но колокол дает сигнал: готово!
И звуки вышли, двинулись в простор,

Идут, как горы, — ввысь! Им нет преграды,
Они в тебе, во мне, и мы в плену,
Мы в эхо, в отзвук обратиться рады.
Ведут — возводят нас на крутизну,

Откуда виден мир — и все вокруг,
И все, что в нас, вошло в границы вдруг.
Нам дан порядок: тот ничтожно мал,

А тот велик, и все — в едином строе
Великое созвучье мировое!
Великий век! Войди в его хорал!

ИЗ ПОРТУГАЛЬСКИХ ПОЭТОВ

ЛУИС ДЕ КАМОЭНС

1524—1580

* * *

Как лебедь умирающий поет
На зыбкой глади озера лесного,
Когда впервые, скорбно и сурово,
На жизнь глядит уже с иных высот, —

О, если б он часов замедлил ход,
О, если бы расправил крылья снова!
Но славит он конец пути земного,
Освобожденье от земных забот.

Так я, сеньора, здесь, в пути далеком,
Уже смирясь пред неизбежным роком,
Не в силах жить, берусь за лиру вновь

И снова славлю горькими словами
Мою любовь, обманутую вами,
И вашу изменившую любовь.

* * *

Меня сочли погибшим, наблюдая,
Как тягостно владеет горе мною,
Как меж людей бреду я стороною
И как чужда мне суета людская.

Я погибал. Но, мир пройдя до края,
Не изменил возвышенному строю
Среди сердец, что обросли корою,
Страданий очистительных не зная.

Иной во имя золота и славы
Обрыщет землю, возмутит державы,
Зажмет весь мир в железное кольцо,

А я иду любви тропой неторной,
В моей душе — кумир нерукотворный —
Изваяно прекрасное лицо.

* * *

Меняется и время и мечты,
Меняются, как время, представления,
Изменчивы под солнцем все явления,
И мир всечасно видишь новым ты.

Во всем и всюду новые черты,
Но для надежды нет осуществленья.
От счастья остаются сожаленья,
От горя — только чувство пустоты

Уйдет зима, уйдут снега и холод,
И мир весной, как прежде, станет молод,
А я и песню слушаю в слезах.

Иссякнут слезы, вновь придет веселье,
Но страшно роковое новоселье,
И неизменен в мире этот страх.

* * *

Как смерть в глаза выдавший мореход,
Добравшись вплавь до берега чужого,
Пусть «забыть о море» дал он слово,
Пусть он и ветер и волну клянет —

Уже на завтра, с сердца сбросив гнет,
Он золота, он бури жаждет снова,
И вот воспрял, и длань его готова
Направить парус в гибельный поход, —

Так я от бури сладостного взора
Хотел бежать, я изменил отчизне,
Я слал проклятья ветру и волне,

Но возвращаюсь к вам, моя сеньора,
Чтоб снова там найти источник жизни,
Где лишь недавно смерть грозила мне.

* * *

Дожди с небес, потоки с гор мутят
Речную глубину. В волнах не стало брода.
В лесах не стало лиственного свода,
Лишь ветры оголтелые свистят.

Сменил весну и лето зимний хлад,
Все унеслось в круговращенье года,
И Рок забыл, жива ль еще природа,
Гармония ли в мире иль разлад.

Но Время точно свой блюдет порядок,
А мир... а в мире столько неполадок,
Как будто нас забыл всевышний сам.

Все ясное, обычное, простое —
Все спуталось, и рухнули устои.
А жизни нет. Жизнь только снится нам.

* * *

Что унесла ты, Смерть? — «Взошедшее светило».
Когда? — «Как только день забрезжил в небесах».
И что ж теперь оно? — «Уже остывший прах».
Кто приказал тебе? — «Тот, чья безмерна сила».

Кто телу даст приют? — «Как всем телам — могила».
Где юный блеск его? — «Как всё — погас впотьмах».
А Португалия? — «Глядит на гроб в слезах».
Что говорит она? — «Как рано ты почила!»

Кто видел мертвую — не умер? — «Был убит».
Что говорит Любовь? — «В молчании скорбит».
Кто ей замкнул уста? — «Я! Чтоб не слышать вздора».

А королевский двор? — «С Любовью заодно».
Что там готовится? — «Там пусто и темно».
Кто мог бы свет вернуть? — «Мария де Тавора».

* * *

Вы мчитесь, волны, мимо всех преград,
Пускай с трудом, но радуясь заране
Соединенью в вечном океане,
Который вас готов принять, как брат.

Но горе тем, чей путь трудней стократ,
Кто слезы льет, придя к последней грани,
Кто, затеряв мечту свою в тумане,
Ее причислил к тысячам утрат.

Вы мчитесь по извилистым дорогам
К морской груди, как бы к земному раю,
Вам тяжело, но радостен ваш бег.

А я иду, как будто проклят богом,
Я торный путь, ведущий к цели, знаю,
Но для меня закрылся он навек.

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

ЖОАШЕН ДЮ БЕЛЛЕ

1522—1560

ПЕСНЯ СЕЯТЕЛЯ ПШЕНИЦЫ *

Для всех гостей, летящих
На крыльях шелестящих, —
Для вестников тепла,
Веселых ветров мая,
Играющих, порхая,
Чтоб нива расцвела, —

Для них цветы-малютки,
Фиалки, незабудки,
И розы — много роз,
И белых роз, и красных,
Душистых и атласных,
Я в сеялке принес.

Ты, легкий, шаловливый,
Порхай, зефир, над нивой
И освежай меня,
Пока, тудясь упорно,
Я развеваю зерна
В дыханье жарком дня.

* * *

Ученым степени дает ученый свет,
Придворным землями отмеривают плату,
Дают внушительную должность адвокату,
И командирам цепь дают за блеск побед.

Чиновникам чины дают с теченьем лет,
Пеньковый шарф дают за все дела пирату,
Добычу отдают отважному солдату,
И лаврами не раз увенчан был поэт.

Зачем же ты, Жодель, тревожишь Музу плачем,
Что мы обижены, что ничего не значим?
Тогда ступай себе другой дорогой, брат!

Лишь бескорыстному служенью Муза рада,
И стыдно требовать Поэзии наград,
Когда Поэзия сама себе награда.

* * *

Ты хочешь, мой Дилье, войти в придворный круг? *
Умей понравиться любимцам именитым.
Средь низших сам держись вельможей, сибаритом,
К монарху приспособь досуг и недосуг.

В беседе дружеской не раскрывайся вдруг
И помни главное: поближе к фаворитам!
Рукою руку мой — и будешь сильным, сытым,
Не брезгай быть слугой у королевских слуг!

Не стой за ближнего, иль прослынешь настырным,
Не вылезай вперед, кажись, где надо, смиренным,
Оглохни, онемей, будь слеп к чужой игре.

Не порицай разврат, не будь ему свидетель,
Являй угодливость и плной на добродетель —
Таков, Дилье, залог успеха при дворе.

* * *

Я не люблю Двора, но в Риме я — придворный,
Свободу я люблю, но должен быть рабом,
Люблю я прямоту — льстецам открыл свой дом,
Стяжанья враг — служу корыстности позорной.

Не лицемер — учу язык похвал притворный,
Чту веру праотцев, но стал ее врагом,
Хочу лишь правдой жить, но лгу, как все кругом,
Друг добродетели — терплю порок тлетворный.

Покая жажду я — томлюсь в плену забот,
Ищу молчания — меня беседа ждет,
К веселью тороплюсь — мне скука ставит сети.

Я болен, но всегда — в карете иль верхом,
В мечтах я музы жрец, на деле — эконоом,
Ну, можно ли, Морель, несчастней быть на свете!

* * *

Жить надо, жить, мой Г о р д , — годов недолог счет!
Еще у старости не время брать уроки!
Так дорог жизни дар и так ничтожны сроки —
Бессилен и король замедлить их приход!

Весна изменит нам, придет зимы черед,
А зиму вновь умчат весенние потоки.
Но вечно спят во тьме и вечно одиноки
Те, от кого лазурь закрыл могильный свод.

Так что ж, не быть людьми, как рыбы жить, как звери?!
Нет, выше голову! Веселью настезь двери!
Пусть боги радости царят у нас в дому!

Безумен, кто отверг надежное, земное
В расчете призрачном на бытие иное
И сам противустал желанью своему!

* * *

Блажен, кто странствовал подобно Одиссею,
В Колхиду парус вел за золотым руном,
И, мудрый опытом, вернулся в отчий дом
Остаток дней земных прожить с родней своею.

Когда же те места я посетить сумею,
Где каждый камешек мне с детских лет знаком,
Увидеть комнату с уютным камельком,
Где целым княжеством, где царством я владею?

За это скромное наследие отцов
Я отдал бы весь блеск прославленных дворцов,
И все их мраморы — за шифер кровли старой,

И весь латинский Тибр, и гордый Палатин —
За галльский ручеек, за мой Лире один,
И весь их шумный Рим — за домик над Луарой.

* * *

Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи,
Идет гора воды, и брызжет, и ревет,
И сотни черных волн швыряет в небосвод,
И разбивается о твердь скалы могучей:

Как ярый аквилон, родясь на льдистой круче,
И воет, и свистит, и роет бездну вод,
Размахом темных крыл полмира обоймет,
И падает, смирясь, на грудь волны зыбучей.

Как пламень, вспыхнувший десятком языков,
Гудя, взметается превыше облаков
И гаснет, истощась, — так, буйствуя жестоко,

Шел Деспотизм — как вихрь, как пламень, как вода,
И, придавив ярмом весь мир, по воле рока,
Здесь утвердил свой трон, чтоб сгинуть навсегда.

* * *

Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок,
Банкира улещать, хоть толку никакого,
Час целый взвешивать пред тем, как молвить
слово,
Замкнув парижскую свободу на замок,

Ни выпить лишнего, ни лишний съесть кусок,
Придерживать язык в присутствии чужого,
Пред иностранцами разыгрывать немого,
Чтоб гость о чем-нибудь тебя спросить не мог.

Со всеми жить в ладу, насилуя природу,
Чем безграничнее тебе дают свободу,
Тем чаще вспоминать, что можешь сесть в тюрьму.

Хранить любезный тон с мерзавцами любимыми —
Вот, милый мой Морель, что за три года в Риме
Сполна усвоил я, к позору своему!

* * *

Когда, родной язык сменив на чужестранный¹,
В стихах заговорил я по-латыни вдруг,
Причина, мой Ронсар, не в том, что Рим вокруг,
Не в шуме древних струй, бегущих с гор Тосканы,

Но в том, что здесь я раб немой и безымянный,
Томлюсь, как Прометей, — пойми, три года мук! —
Что без надежд живу, и верь, мой добрый друг,
Виной жестокий рок, увы, не взор желанный.

Но если от тоски в какой-то тяжкий миг
Овидий перешел на варварский язык,
Чтоб быть услышанным, так пусть простит мне муза

Мое предательство — ведь у латинских рек,
Хотя б велик ты был, как Римлянин иль Грек,
Никто, Ронсар, никто не слушает Француза.

* * *

Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду
Высокой истине не шел наперекор,
Не принуждал перо кропать постыдный вздор,
Прислуживаясь к тем, кто делает погоду.

А я таю свой гнев, насилую природу,
Чтоб нестерпимых уз не отягчить позор,
Не смею вырваться душою на простор
И обрести покой иль чувству дать свободу.

¹ Ответ Ронсару на его сонет: «Меж тем как ты живешь на древнем Палатине» (см. стр. 103).

Мой каждый шаг стеснен — безропотно молчу.
Мне отравляют жизнь, и все ж я не кричу.
О мука, все терпеть, лишь кулаки сжимая!

Нет боли тягостней, чем скрытая в кости!
Нет мысли пламенней, чем та, что взаперти!
И нет страдания сильней, чем скорбь немая!

* * *

Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг
живет?

Проснувшись, облачась по всем законам моды,
Час размышляет он, как сократить расходы
И как долги отдать, а плату взять вперед.

Потом он мечется, он ищет, ловит, ждет,
Хранит любезный вид, хоть вспылчив от природы,
Сто раз переберет все выходы и входы,
Замыслив двадцать дел, и двух не проведет.

То к папе на поклон, то письма, то доклады,
То знатный гость пришел, и — рады вы, не рады —
Наврет с три короба он всякой чепухи.

Те просят, те кричат, те требуют совета,
И это каждый день, и, веришь, нет просвета...
Так объясни, Панжас, как я пишу стихи?

* * *

Когда б я ни пришел, ты, Пьер, твердишь одно:
Что, видно, я влюблен, что сохну от ученья,
Что книги да любовь — нет худшего мученья:
От них круги в глазах и в голове темно.

Но верь, не в книгах суть, и уж совсем смешно,
Что ты любовные припутал огорченья, —
От службы вся беда, от ней все злоключенья,
Мне над конторкою зачехнуть суждено.

С тобой люблю я, Пьер, беседовать, но если
Ты хочешь, чтобы я не ерзал, сидя в кресле,
Не раздражай меня невежеством своим!

Побрей меня, дружок, завей, а ради скуки
Ты б лучше сплетничал, не трогая науки,
Про папу и про все, о чем толкует Рим.

* * *

Пока мы тратим жизнь и длится лживый сон,
Которым на крючок надежда нас поймала,
Пока при дяде я, Панжас — у кардинала,
Маньи — там, где велит всесильный Авансон,

Ты служишь королям, ты счастьем вознесен,
И славу Франции умножил ты немало
Той славою, Ронсар, что гений твой венчала
За то, что Францию в веках прославил он.

Ты счастлив, друг, а мы среди чужой природы,
На чуждом берегу бесплодно тратим годы,
Вверяя лишь стихам все, что терзает нас.

Так на чужом пруду, пугая всю округу,
Прижавшись крыльями в отчаянье друг к другу,
Три лебедя кричат, что бьет их смертный час.

* * *

Отчизна доблести, искусства и закона,
Я вскормленник твоих, о Франция, сосцов!
И, как ягненок мать зовет в глуши лесов,
К тебе взываю здесь, вблизи чужого трона.

Ужели своего мне не раскроешь лона,
Дитя не возвратишь под материнский кров?
Откликнись, Франция, на мой последний зов!
Но вторит эхо мне, а ты не слышишь стона.

Брожу среди зверей, безлюдный лес вокруг,
И в жилах стынет кровь, и холод зимних выюг,
Дрожа, предчувствую в осеннем листопаде.

Ты всех ягнят своих укрыла от зимы,
От голода, волков и от морозной тьмы —
За что же гибну я, ужель я худший в стаде?

* * *

Когда мне портит кровь упрямый кредитор,
Я лишь сложу стихи — и бешенство пропало.
Когда я слышу брань вельможного нахала,
Мне любо, желчь излив, стихами дать отпор.

Когда плохой слуга мне лжет и мелет вздор,
Я вновь пишу стихи — и злости вмиг не стало,
Когда от всех забот моя душа устала,
Я черпаю в стихах и бодрость и задор.

Стихами я могу слагать хвалы свободе,
Стихами лень гоню назло моей природе,
Стихам веряю все, что затаил в душе,

Но если от стихов мне столько пользы разной
И вносят жизнь они в мой век однообразный,
Зачем ты бросить их советуешь, Буше?

* * *

Ты помнишь, Лагеи, я собирался в Рим, *
И ты мне говорил (мы у тебя сидели) :
«Запомни, Дю Белле, каким ты был доселе,
Каким уходишь ты, и воротись таким».

И вот вернулся я — таким же, не другим.
Лишь то, что волосы немного поседели,
Да чаще хмурю бровь, и дальше стал от цели,
И только мучаюсь, все мучаюсь одним.

Одно грызет меня и гложет сожаленье.
Не думай, я не вор, не грешен в преступленье.
Но сам обрек себя на трехгодичный плен,

Сам обманул себя надеждою напрасной
И растерял себя из жажды перемен,
Когда уехал в Рим из Франции прекрасной.

ПЬЕР ДЕ РОНСАР

1524—7585

* * *

Едва Камена мне источник свой открыла
И рвением сладостным на подвиг окрылила,
Веселье гордое мою согрело кровь
И благородную зажгло во мне любовь.
Плененный в двадцать лет красавицей беспечной,
Задумал я в стихах излить свой жар сердечный,
Но, с чувствами язык французский согласив,
Увидел, как он груб, неясен, некрасив.
Тогда для Франции, для языка родного
Трудиться начал я отважно и сурово,
Я множил, воскрешал, изобретал слова,
И сотворенное прославила молва.
Я, древних изучив, открыл свою дорогу,
Порядок фразам дал, разнообразье — слогу,
Я строй поэзии нашел — и, волей муз,
Как Римлянин и Грек, великим стал Француз.

* * *

Дриаду в поле встретил я весной.
Она в простом наряде, меж цветами,
Держа букет небрежными перстами,
Большим цветком прошла передо мной.

И словно мир покрылся пеленой.
Один лишь образ реет пред очами,
Я грустен, хмур, брожу без сна ночами,
Всеми единый взгляд ее виной.

Я чувствовал, покорный дивной силе,
Что сладкий яд ее глаза струили,
И замирало сердце им в ответ.

Как лилия, цветок душистый мая,
Под ярким солнцем гибнет, увядая,
Я, обожженный, гасну в цвете лет.

* * *

Когда одна, от шума в стороне,
Бог весть о чем рассеянно мечтая,
Задумчиво сидишь ты, всем чужая,
Склонив лицо, как будто в полусне,

Хочу тебя окликнуть в тишине,
Твою печаль развеять, дорогая,
Иду к тебе, от страха замирая,
Но голос, дрогнув, изменяет мне.

Лучистый взор твой встретить я не смею,
Я пред тобой безмолвен, я немею,
В моей душе смятение царит.

Лишь тихий вздох, прорвавшийся случайно,
Лишь грусть моя, лишь бледность говорит,
Как я люблю, как я терзаюсь тайно.

* * *

«В твоих кудрях неожиданный снег блеснет,
В немного зим твой горький путь замкнется,
От мук твоих надежда отвернется,
На жизнь твою безмерный ляжет гнет.

Ты не уйдешь из гибельных тенет,
Моя любовь тебе не улыбнется,

В ответ на стон твой сердце не забьется,
Твои стихи потомок осмеет.

Простишься ты с воздушными дворцами,
Во гроб сойдешь ославленный глупцами,
Не тронув суд небесный и земной».

Так предсказала нимфа мне мой жребий,
И молния, свидетельствуя в небе,
Пророчеством блеснула надо мной.

* * *

Эй, паж, поставь нам три стакана,
Налей их ледяным вином.
Мне скучно! Пусть приходит Жанна,
Под лютию спляшем и споем,
Чтобы гремел весельем дом.
Пусть Барб идет, забот не зная,
Волос копну скрутив узлом,
Как итальянка озорная.

Был день — и вот уже прошел он.
А завтра, завтра, старина...
Так пусть бокал мой будет полон,
Хочу упиться допьяна!
Мне только скука и страшна.
А Гиппократ — да врет он, право,
Я лишь тогда и мыслю здраво,
Когда я много пью вина.

СТАНСЫ

Если мы во храм пойдем —
Преклонясь пред алтарем,

Мы свершим обряд смиренный,
Ибо так велел закон
Пилигримам всех времен
Восхвалять творца вселенной.

Если мы в постель пойдем,
Ночь мы в играх проведем,
В ласках неги сокровенной,
Ибо так велит закон
Всем, кто молод и влюблен,
Проводить досуг блаженный.

Но как только захочу
К твоему припасть плечу,
Иль с груди совлечь покровы,
Иль прильнуть к твоим губам, —
Как монашка, всем мольбам
Ты даешь отпор суровый.

Для чего ж ты сберегла
Нежность юного чела,
Жар нетронутого тела —
Чтоб женой Плутона стать,
Чтоб Харону их отдать
У стигийского предела?

Час пробьет, спасенья нет —
Губ твоих поблекнет цвет,
Ляжешь в землю ты сырую,
И тогда я, мертвый сам,
Не признаюсь мертвецам,
Что любил тебя живую.

Все, чем ныне ты горда,
Все истлеет без следа —
Щеки, лоб, глаза и губы.

Только желтый череп твой
Глянет страшной наготой
И в гробу оскалит зубы.

Так живи, пока жива,
Дай любви ее права —
Но глаза твои так строги!
Ты с досады б умерла,
Если б только поняла,
Что теряют недотроги.

О, постой, о, подожди!
Я умру, не уходи!
Ты, как лань, бежишь тревожно...
О, позволь руке скользнуть
На твою нагую грудь
Иль пониже, если можно!

* * *

Мой боярышник лесной,
Ты весной
У реки расцвел студеной,
Будто сотней цепких рук,
Весь вокруг
Виноградом оплетенный.

Корни полюбив твои,
Муравьи
Здесь живут гнездом веселым,
Твой обглодан ствол, но все ж
Ты даешь
В нем приют шумливым пчелам.

И в тени твоих ветвей
Соловей,

Чуть пригреет солнце мая,
Вместе с милой каждый год
Домик вьет,
Громко песни распевая.

Услан мягко шерстью, мхом
Теплый дом,
Свитый парюю прилежной.
Новый в нем растет певец,
Их птенец
Рук моих питомец нежный.

Так живи, не увядай,
Расцветай —
Да вовек ни гром небесный,
Ни гроза, ни дождь, ни град
Не сразят
Мой боярышник прелестный.

МОЕМУ РУЧЬЮ

Полдненным зноем утомленный,
Как я люблю, о мой ручей,
Припасть к твоей волне студеной,
Дышать прохладой твоей,

Покуда Август бережливый
Спешит собрать дары земли,
И под серпами стонут нивы,
И чья-то песнь плывет вдали.

Неистошимо свеж и молод,
Ты будешь божеством всегда
Тому, кто пьет твой бодрый холод,
Кто близ тебя пасет стада.

И в полночь на твои поляны,
Смутив весельем их покой,
Все так же нимфы и сивьяны
Сбегутся резвою толпой.

Но пусть, ручей, и в дреме краткой
Твою не вспомню я струю,
Когда, измучен лихорадкой,
Дыханье смерти узнаю.

* * *

Мари, перевернув рассудок бедный мой,
Меня, свободного, в раба вы превратили,
И отвернулся я от песен в важном стиле,
Который «низкое» обходит стороной.

Но если бы рукой скользил я в час ночной
По вашим прелестям — но ножкам, по груди ли,
Вы этим бы мою утрату возместили,
Меня не мучило б отвергнутое мной.

Да, я попал в беду, а вам и горя мало,
Что Муза у меня бескрылой, низкой стала
И в ужасе теперь французы от нее,

Что я в смятении, хоть вас люблю, как прежде,
Что, видя холод ваш, изверился в надежде
И ваше торжество — падение мое.

АМУРЕТТА

Вы слышите, все громче воев вьюга.
Прогоним холод, милая подруга:
Не стариковски, ежась над огнем, —
С любовной битвы вечер свой начнем.

На этом ложе будет место бою!
Скорей обвейте шею мне рукою
И дайте в губы вас поцеловать.
Забудем все, что вам внушала мать.
Стыдливый стан я обниму сначала.
Зачем вы причесались, как для бала?
В часы любви причесок не терплю,
Я ваши косы мигом растреплю.
Но что же вы? Приблизьте щечку смело!
У вас ушко, я вижу, покраснело.
О, не стыдитесь и не прячьте глаз —
Иль нежным словом так смутил я вас?
Нет, вам смешно, не хмурьтесь так сурово!
Я лишь сказал — не вижу в том дурного! —
Что руку вам я положу на грудь.
Вы разрешите ей туда скользнуть?
О, вам играть угодно в добродетель!
Затейница! Амур мне в том свидетель:
Вам легче губы на замок замкнуть,
Чем о любви молить кого-нибудь.
Парис отлично разгадал Елену:
Из вас любая радуется плену.
Иная беззаветно влюблена,
Но похищеньем бредит и она.
Так испытаем силу — что вы, что вы!
Упали навзничь, умереть готовы!
О, как я рад — не поцелуй я вас,
Вы б надо мной смеялись в этот час,
Одна оставшись у себя в постели.
Свершилось то, чего вы так хотели!
Мы повторим, и дай нам бог всегда
Так согреваться в лучшие года.

* * *

Меж тем как ты живешь на древнем Палатин!
И внемлешь говору латинских вод, мой друг,
И, видя лишь одно латинское вокруг,
Забыл родной язык для чопорной латыни,

Анжуйской девушке служу я в прежнем чине,
Блаженствую в кольце ее прекрасных рук,
То нежно с ней бранюсь, то зацелую вдруг,
И по пословице: не мудр, но счастлив ныне.

Ты подмигнешь Маньи, читая мой сонет:
«Ронсар еще влюблен! Ведь это просто чудо!»
Да, мой Белле, влюблен, и счастья выше нет.

Любовь напастью звать я не могу покуда.
А если и напасть — попасть любви во власть,
Всю жизнь готов терпеть подобную напасть.

ШАЛОСТЬ

В дни, пока златой наш век
Царь бессмертных не пресек,
Под надежным Зодиаком
Люди верили собакам.
Псу достойному герой
Жизнь и ту вверял порой.
Ну, а ты, дворяга злая,
Ты, скребясь о дверь и лая,
Что наделал мне и ей,
Нежной пленнице моей,
В час, когда мы, бедра в бедра,
Грудь на грудь, возились бодро,
Меж простынь устрои в а й , —
Ну зачем ты поднял лай?

Отвечай по крайней мере,
Что ты делал возле двери,
Что за черт тебя принес,
Распроклятый, подлый пес?
Прибежали все на свете:
Братья, сестры, тети, д е т и, —
Кто сказал им, как не ты,
Чем мы были заняты,
Что творили на кушетке!
Раскудахтались соседки.
А ведь есть у милой мать,
Стала милую хлестать —
Мол, таких вещей не делай!
Я видал бедняжку белой,
Но от розги вся красна
Стала белая спина.
Кто, скажи, наделал это?
Недостоин ты сонета!
Я уж думал: воспою
Шерстку пышную твою.
Я хвалился: что за песик!
Эти лапки, этот носик,
Эти ушки, этот хвост!
Я б вознес тебя до звезд,
Чтоб сиял ты с небосклона
Псом, достойным Ориона.
Но теперь скажу я так:
Ты не друг, ты просто враг.
Ты, паршивый, пес фальшивый,
Гадкий, грязный и плешивый.
Учинить такой подвох!
Ты — плодильня вшей и блох,
От тебя одна морока,
Ты — блудилище порока,
Заскорузлой шерсти клок.
Пусть тебя свирепый дог

Съест на той навозной куче.
Ты не стоишь места лучше,
Если ты, презренный пес,
На хозяина донес.

* * *

Ах, чертов этот врач! Опять сюда идет!
Он хочет сотый раз увидеть без рубашки
Мою любимую, пощупать все: и ляжки,
И ту, и эту грудь, и спину, и живот.

Так лечит он ее? Совсем наоборот:
Он плут, он голову морочит ей, бедняжке,
У всей их братии такие же замашки.
Влюбился, может быть, так лучше пусть не врет!

Ее родители, прошу вас, дорогие, —
Совсем расстроил вас недуг моей Марии! —
Гоните медика, влюбленную свинью!

Неужто не ясна вам вся его затея?
Да ниспошлет господь, чтоб наказать злодея,
Ей исцеление, ему — болезнь мою.

* * *

Как роза ранняя, цветок душистый мая,
В расцвете юности и нежной красоты,
Когда встающий день омыл росой цветы,
Сверкает, небеса румянцем затмевая,

Вся прелестью дыша, вся грация живая,
Благоуханием поит она сады —
Но солнце жжет ее, но дождь сечет листы,
И клонится она, и гибнет, у в я д а я, —

Так ты, красавица, ты, юная, цвела,
Ты небом и землей прославлена была,
Но пресекла твой путь ревнивой Парки злоба,

И я в тоске, в слезах на смертный одр принес
В кувшине — молока, в корзинке — свежих роз,
Чтоб розою живой ты расцвела из гроба.

* * *

Когда от шума бытия
В Вандомуа скрываюсь я,
Бродя в смятении жестоком,
Тоской, раскаяньем томим,
Утесам жалуясь глухим,
Лесам, пещерам и потокам.

Утес, ты в вечности возник,
Но твой недвижимый, мертвый лик
Щадит тысячелетий ярость,
А молодость моя не ждет,
И каждый день, и каждый год
Меня преобразует старость.

О лес, ты с каждою зимой
Теряешь волос пышный свой,
Но год пройдет, весна вернется,
Вернется блеск твоей листвы,
А на моем челе — увы! —
Задорный локон не завьется.

Пещеры, я любил ваш кров —
Тогда я духом был здоров,
Кипела бодрость в юном теле,
Теперь, окостенев, я стал
Недвижной камня ваших скал,
И силы в мышцах оскудели.

Поток, бежишь, вперед, вперед,
Волна придет, волна уйдет,
Спешит без отдыха куда-то,
И я без отдыха весь век
И день и ночь стремлю свой бег
В страну, откуда нет возврата.

Судьбой мне краткий дан предел,
Но я б ни лесом не хотел,
Ни камнем вечным стать в пустыне, —
Остановив крылатый час,
Я б не любил, не помнил вас,
Из-за кого я старюсь ныне.

АМАДИСУ ЖАМЕНУ

Три времени, Жамен, даны нам от рожденья:
Мы в прошлом, в нынешнем и в будущем живем.
День будущий — увы! — что знаешь ты о нем?
В догадках не блуждай, оставь предрассуденья.

Дней прошлых не зови — ушли, как сновиденья,
И мы умчавшихся вовеки не вернем.
Ты можешь обладать лишь настоящим днем,
Ты слабый властелин лишь одного мгновенья.

Итак, Жамен, лови, лови наставший день!
Он быстро промелькнет, неуловим как тень,
Зови друзей на пир, чтоб кубки зазвучали!

Один лишь раз, мой друг, сегодня нам дано,
Так будем петь любовь, веселье и вино,
Чтоб отогнать войну, и время, и печали.

* * *

Ты плачешь, песнь моя? Таков судьбы запрет:
Кто жив, напрасно ждет похвал толпы надменной.
Пока у черных волн не стал я тенью пленной,
За труд мой не почтит меня бездушный свет.

Но кто-нибудь в веках найдет мой тусклый след
И на Луар придет как пилигрим смиренный,
И не поверит он пред новой Ипокреной,
Что маленькой страной рожден такой поэт.

Мужайся, песнь моя! Достоинствам живого
Толпа бросает вслед язвительное слово,
Но богом, лишь умрет, становится певец.

Живых, нас топчет в грязь завистливая злоба,
Но добродетели, сияющей из гроба,
Сплетают правнуки без зависти венец.

* * *

Когда в ее груди — пустыня снеговая
И, как броню, льдом холодный дух одет,
Когда я дорог ей лишь тем, что я поэт,
К чему безумствую, в мученьях изнывая?

Что имя, сан ее и гордость родовая —
Позор нарядный мой, блестящий плен?
О, нет!

Поверьте, милая, я не настолько сед,
Чтоб сердцу не могла вас заменить другая.

Амур вам подтвердит, Амур не может лгать:
Не так прекрасны вы, чтоб чувство отвергать!
Как не ценить любви — я, право, негодую!

Ведь я уж никогда не стану молодым,
Любите же меня таким как есть, седым,
И буду вас любить, хотя б совсем седую.

* * *

Оставь страну рабов, державу фараонов,
Приди на Иордан, на берег чистых вод,
Покинь цирцей, сирен и фавнов хоровод,
На тихий дом смени тлетворный вихрь салонов.

Собою правь сама, не знай чужих законов,
Мгновеньем насладись — ведь молодость не ждет!
За днем веселия печали день придет,
И заблестит зима, твой лоб снегами тронув.

Ужель не видишь ты, как лицемерен Двор?
Он золотом одел Донос и Наговор,
Унизил Правду он и сделал Ложь великой.

На что нам лесть вельмож и милость короля?
В страну богов и нимф — беги в леса, в поля,
Орфеем буду я, ты будешь Эвридикой!

* * *

Когда хочу хоть раз любовь изведать снова,
Красотка мне кричит: «Да ведь тебе сто лет!
Опомнись, друг, ты стал уродлив, слаб и сед,
А корчишь из себя красавца молодого.
Ты можешь только ржать, на что тебе любовь?
Ты бледен, как мертвец, твой век уже измерен,
Хоть прелести мои тебе волнуют кровь,
Но ты не жеребец, ты шелудивый мерин.
Взглянул бы в зеркало: ну право, что за вид!
К чему скрывать года, тебя твой возраст выдал:

Зубов и следу нет, а глаз полузакрыт,
И черен ты лицом, как закопченный идол».
Я отвечаю так: не все ли мне равно,
Слезится ли мой глаз, гожусь ли я на племя,
И черен волос мой иль поседел давно, —
А в зеркало глядеть мне вовсе уж не время.
Но так как скоро мне в земле придется гнить
И в Тартар горестный отправиться, пожалуй,
Пока я жить хочу, а значит, и любить,
Тем более что срок остался очень малый.

* * *

Я к старости клонюсь, вы постарели тоже.
А если бы нам слить две старости в одну
И зиму превратить — как сможем — в ту весну,
Которая спасет от холода и дрожи?

Ведь старый человек на много лет моложе,
Когда не хочет быть у старости в плену.
Он этим придает всем чувствам новизну,
Он бодр, он как змея в блестящей новой коже.

К чему вам этот грим — вас только портит он,
Вы не обманете бегущих дней закон:
Уже не округлить вам ног, сухих, как палки,

Не сделать крепкой грудь и сладостной, как плод.
Но время — дайте срок! — личину с вас сорвет,
И лебедь белая взлетит из черной галки.

* * *

А что такое смерть? Такое ль это зло,
Как всем нам кажется? Быть может, умирая,
В последний, горький час дошедшему до края,
Как в первый час п у т и , — совсем не тяжело?

Но ты пойми — не быть! Утратить свет, тепло,
Когда порвется нить и бледность гробовая
По членам побежит, все чувства обрывая, —
Когда желанья уйдут, как все ушло.

Там не попросишь есть! Ну да, и что ж такого?
Лишь тело просит есть, еда — его основа,
Она ему нужна для поддержанья сил.

А дух не ест, не пьет. Но смех, любовь и ласки?
Венеры сладкий зов? Не трать слова и краски,
Зачем любовь тому, кто умер и остыл?

* * *

Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада
Я приближаюсь глух, изглодан, черен, слаб,
И смерть уже меня не выпустит из лап.
Я страшен сам себе, как выходец из ада.

Поэзия лгала! Душа бы верить рада,
Но не спасут меня ни Феб, ни Эскулап.
Прощай, светило дня! Болящей плоти раб,
Иду в ужасный мир всеобщего распада.

Когда заходит друг, сквозь слезы смотрит он,
Как уничтожен я, во что я превращен.
Он что-то шепчет мне, лицо мое целуя,

Стараясь тихо снять слезу с моей щеки.
Друзья, любимые, прощайте, старики!
Я буду первый там, и место вам займу я.

КРИСТОФ ПЛАНТЕН

1514—1589

* * *

Что нужно на земле? — Удобный, чистый дом, *
Хорошее вино, хороший сад фруктовый,
Не больше двух детей, гостям уют готовый,
Хорошая жена, не шумная притом;

Не знаться с тяжбами, долгами и судом,
Довольствоваться тем, что день приносит новый,
И незаметно жить, забыв мирские ковы,
Наполнив дни простым размеренным трудом;

Не жадать почестей, в желаньях помнить меру,
Не быть рабом Страстей, хранить живую веру,
Ценить покой души, как божью благодать,

Любить жену, детей, животных и растенья.
Иметь свободный ум и смелые сужденья —
И можешь у себя спокойно смерти ждать.

ОЛИВЬЕ ДЕ МАНЬИ

1529—1561

* * *

Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне? *
Когда конец войне на стонущей планете?
Когда настанет мир на этом грешном свете,
Чтобы вздохнул народ в измученной стране?

Я вижу вновь убийц пешком и на коне,
Опять войска, войска, и гул, и крики эти,
И нас, как прежде, смерть заманивает в сети,
И только стоны, кровь и города в огне.

Так ставят короли на карту наши жизни.
Когда же мы падем, их жертвуя отчизне,
Какой король вернет нам жизнь и солнца свет?

Несчастен, кто рожден в кровавые минуты,
Кто путь земной прошел во дни народных бед.
Нам чашу поднесли, но полную цикуты.

* * *

Не следует пахать и сеять каждый год: *
Пусть отдохнет земля, под паром набухая.
Тогда мы вправе ждать двойного урожая,
И поле нам его в урочный срок дает.

Следите, чтобы мог вздохнуть и ваш народ,
Чтоб воздуху набрал он, плечи расправляя.

И тяготы свои на время забывая,
В другой раз легче он их бремя пронесет.

Что кесарево, сир, да служит вашей славе.
Но больше требовать, поверьте, вы не вправе.
Умерьте сборщиков бессовестную рать,

Чтобы не смели те, кто алчны и жестоки,
Три шкуры драть с людей, высасывать их соки,
Стригите подданных — зачем их обдирать?

ЖАК ГРЕВЕН

1538—1570

* * *

Без них ты ни на шаг — им власть над всем дана, *
Над всею Францией, от хижины до трона.
Нас учат выполнять их волю неуклонно,
Их цветом общества должна считать страна.

Но ежели корысть — ох, как она сильна! —
Поманит кошельком — их чести нет урона,
Коль полубог земной пойдет в обход закона.
А мы, боясь, молчим — такие времена!

Народ у нас, как мяч, — то красный вдруг, то белый,
Летит, куда швырнут. Так вихрь остервенелый
Крушит увядший лист. И эти господа

Ломают, гнут людей, насилуют и грабят
И ни за что ярем проклятый не ослабят,
Как будто Бога нет и Страшного суда.

ФИЛИПП ДЕПОРТ

1546—1606

* * *

Друг одиночества ночного, мирный Сон! *
Не ты ль хранишь покой всего миротворенья,
Страдающим сердцам даришь часы забвенья,
Вливаешь силы в тех, кто жизнью оскорблен.

Ты глух ко мне, хоть Ночь объемлет небосклон,
На черной четверне летя в свои владенья.
На свете я один лишен отдохновенья,
Хотя простерт на всех твой благостный закон.

Где мир твой и покой, где образы былого,
Из волн Забвения всплывающие снова,
Чтоб сердце обновить, смывая жизни муть.

О, Ночи вещий брат, мой враг, мучитель ярый,
Молю тебя, зову — ты спишь иль сходишь карой
И страхом леденишь пылающую грудь.

ЖАН ЛАФОНТЕН

1621—1695

ОЧКИ *

Уже не раз давал я клятвенный обет
Оставить наконец монашенок в покое.
И впрямь, не странно ли пристрастие такое?
Всегда один типаж, всегда один сюжет!
Но Муза мне опять кладет кlobук на столик.
А дальше что? Кlobук. Тьфу, черт, опять кlobук!
Кlobук да и кlobук — всё кlobуки вокруг.
Ну что поделаешь? Наскучило до колик.
Но ей, проказнице, такая блажь пришла:
Искать в монастырях амурные дела.
И знай пиши, поэт, хотя и без охоты!
А я вам поклянусь: на свете нет писца,
Который исчерпать сумел бы до конца
Все эти хитрости, уловки, извороты.
Я встарь и сам грешил, но вот... да что за счеты!
Писать так уж писать! Жаль, публика пуста:
Тотчас пойдет молва, что дело неспроста,
Что рыльце у него у самого в пушку, мол.

Но что досужий плут про нас бы ни придумал,
Положим болтовне, друзья мои, конец.
Перебираю вновь забытые страницы.

Однажды по весне какой-то молодец
Пробрался в монастырь во образе девицы.
Пострел наш от роду имел пятнадцать лет.

Усы не числились в ряду его примет.
В монастыре себя назвав сестрой Коллет,
Не стал наш кавалер досуг терять без дела:
Сестра Агнеса в барыше!
Как в барыше? Да так: сестра не доглядела,
И вот вам грех на сестриной душе.
Сперва на поясе раздвинута застежка,
Потом на свет явился крошка,
В свидетели историю беру,
Похож как вылитый на юношу-сестру.

Неслыханный скандал! И это где — в аббатстве!
Пошли шушукаться, шептать со всех сторон:
«Откуда этот гриб? Вот смех! В каком ей братстве
Случилось подцепить подобный шампиньон?
Не зачала ль она, как пресвятая дева?»
Мать аббатиса вне себя от гнева.
Всему монастырю бесчестье и позор!
Преступную овцу сажают под надзор.
Теперь — найти отца! Где волк, смугливый стадо?
Как он проник сюда? Где притаился вор?
Перед стенами — ров, и стены все — что надо.
Ворота — крепкий дуб, на них двойной запор.
«Какой прохвост прикинулся сестрою? —
Вопит святая м а т ь . — Не спит ли средь овец
Под видом женщины разнузданный самец?
Постой, блудливый волк, уж я тебя накрою!
Всех до одной раздеть! А я-то хороша!»
Так юный мой герой был пойман напоследок.
Напрасно вертит он мозгами так и эдак,
Увы, исхода нет, зацапали ерша!

Источник хитрости — всегда необходимость.
Он подвязал — ну да? — он подвязал тогда,
Он подвязал — да что? — ну где мне взять решимость
И как назвать пристойно, господа,

Ту вещь, которую он скрыл не без труда.
О, да поможет мне Венера звезда
Найти название для этой хитрой штуки!
Когда-то, говорят, совсем уже давно,
Имелось в животе у каждого окно —
Удобство для врачей и польза для науки!
Раздень да посмотри и все прочтешь внутри.
Но это — в животе, а что ни говори,
Куда опасней сердце в этом смысле.
Прodelайте окно в сердцах у наших дам —
Что будет, господи, не оберешься драм:
Ведь это все равно, что понимать их мысли!
Так вот Природа-мать — на то она и мать, —
Уразумев житейских бед причины,
Дала нам по шнурку, чтоб дырку закрывать
И женщины могли спокойно и мужчины.
Но женщины свой шнур — так рассудил Амур —
Должны затягивать немножко чересчур,
Всё потому, что сами сплеховали:
Зачем окно свое некрепко закрывали!
Доставшийся мужскому полу шнур,
Как выяснилось, вышел слишком длинным
И тем еще придал нахальный вид мужчинам.
Ну словом, как ни кинь, а каждый видит сам:
Он длинен у мужчин и короток у дам.
Итак, вы поняли — теперь я буду краток, —
Что подвязал догадливый юнец:
Машины главный штырь, неназванный придаток,
Коварного шнурка предательский конец.
Красавец нитками поддел его так ловко,
Так ровно подогнул, что все разгладил там.
Но есть ли на земле столь крепкая веревка,
Чтоб удержать глупца, когда — о стыд и срам! —
Он нагло пыжится, почуяв близость дам.
Давайте всех святых, давайте серафимов —
Ей-богу, все они не стоят двух сантимов,

Коль постных душ не обратят в тела
Полсотни девушек, раздетых догола,
Причем любви богиня им дала
Все, чтоб заманивать мужское сердце в сети:
И прелесть юных форм, и кожи дивный цвет, —
Все то, что солнце жжет открыто в Новом свете,
Но в темноте хранит ревнивый Старый свет.

На нос игуменя напаялила стекляшки,
Чтоб не судить об этом деле зря.
Кругом стоят раздетые монашки
В том одеянии, что, строго говоря,
Для них не мог бы сшить портной монастыря.
Лихой молодчик наш глядит, едва не плача,
Ему представилась хорошая задача!
Тела их, свежие, как снег среди зимы,
Их бедра, их грудей упругие холмы,
Ну, словом, тех округлостей пружины,
Которые нажать всегда готовы мы,
В движенье привели рычаг его машины,
И, нить порвав, она вскочила наконец —
Так буйно рвет узду взбешенный жеребец —
И в нос игуменью ударила так метко,
Что сбросила очки. Проклятая насадка,
Лишившись языка при виде сих примет —
Глядеть на них в упор ей доводилось редко, —
Как пень уставилась на роковой предмет.

Такой оказией взбешенная сверх меры,
Игуменя зовет старух овец на суд,
К ней молодого волка волокут,
И оскорбленные мегеры
Выносят сообща суровый приговор:
Опять выходят все во двор,
И нарушитель мира посрамленный,
Вновь окружаемый свидетельниц кольцом,

Привязан к дереву, к стволу его лицом,
А к зрителям — спиной и продолженьем оной.
Уже не терпится старухам посмотреть,
Как по делам его проучен будет пленник:
Одна из кухни тащит свежий веник,
Другая — розги взять — бегом несется в клеть,
А третья гонит в кельи поскорее
Сестер, которые моложе и добрее,
Чтоб не пустил соблазн корней на той земле,
Но чуть, пособница неопытности смелой,
Судьба разогнала синклит осатанелый,
Вдруг едет мельник на своем осле —
Красавец, женолюб, но парень без подвоха,
Отличный кегельщик и славный выпивоха.
«Ба! — говорит, — ты что? Вот это так святой!
Да кто связал тебя и по какому праву?
Чем прогневил сестер? А ну, дружок, открой!
Или кобылку здесь нашел себе по нраву?
Бьюсь об заклад, на ней поездил ты на славу.
Нет, я уж понял все, мой нюх не подведет,
Ты парень хоть куда, пускай в кости и тонок,
Такому волю дай — испортит всех девчонок».
«Да что в ы , — молвит тот, — совсем наоборот:
Лишь только потому я в затрудненья тяжком,
Что много раз в любви отказывал монашкам,
И не связался бы, клянусь вам, ни с одной
За груды золота с меня величиной.
Ведь это страшный грех! Нет, против божьих

правил

И сам король меня пойти бы не заставил».
Лишь хохоча в ответ на все, что он сказал,
Мальчишку мельник быстро отвязал
И молвил: «Идиот! Баранья добродетель!
Видали дурака? Да нет, господь свидетель,
Взять нашего кюре: хоть стар, а все удал.
А ты! Дай место мне! Я мастер в этом деле.

Неужто от тебя любви они хотели?
Привязывай меня да убирайся, брат,
Они получают все и, верь мне, будут рады,
А мне не надобно ни платы, ни награды,
Игра и без того пойдет у нас на лад.
Всех обработаю, не лопнул бы канат!»

Юнец послушался без повторенья просьбы,
Забываясь об одном: платиться не пришлось бы.
Он прикрутил его к стволу и был таков.
Вот мельник мой стоит, большой, широкоплечий,
Готовя для сестер прельстительные речи,
Стоит в чем родился и всех любить готов.
Но, словно конница, несется полк овечий.
Ликует каждая. В руках у них не свечи,
А розги и хлысты. Свою мужскую статью
Несчастный не успел им даже показать,
А розги уж свистят. «Прелестнейшие дамы! —
Взмолился о н . — За что? Я женщинам не враг!
И зря вы сердитесь, я не такой упрямый
И заплачу вам все, что должен тот дурак.
Воспользуйтесь же мной, я покажу вам чудо!
Отрежьте уши мне, коль это выйдет худо!
Клянусь, я в ту игру всегда играть готов,
И я не заслужил ни розог, ни хлыстов».
Но от подобных клятв, как будто видя черта,
Лишь пуще бесится беззубая когорта.
Одна овца вопит: «Так ты не тот злодей,
Что к нам повадился плодить у нас детей!
Тем хуже: получай и за того бродягу!»
И сестры добрые нещадно бьют беднягу.
Надолго этот день запомнил мукомол.
Покуда молит он и, корчась, чуть не плачет,
Осел его, резвясь и травку щипля, скачет.
Не знаю, кто из них к чему и как пришел,

Что мельник делает, как здравствует о с е л , —
От этаких забот храни меня Создатель!
Но если б дюжина монашек вас звала,
За все их белые лилейные тела
Быть в шкуре мельника не стоит, мой читатель.

ФРАНСУА МАРИ ВОЛЬТЕР

1694—1778

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, СОЧИНЕННОЕ В ДЕНЬ КОНЧИНЫ *

Покуда был живым — сражаясь до конца,
Учил я разуму невежду и глупца.
Но и в загробной тьме, все тот же, что и всюду,
Я тени исцелять от предрассудков буду.

АЛЬФРЕД ДЕ ВИНЬИ

1797—1863

СМЕРТЬ ВОЛКА

Под огненной луной крутились вихрем тучи,
Как дым пожарища. Пред нами бор дремучий
По краю неба встал зубчатою стеной.
Храня молчание, мы по траве лесной,
По мелколесью шли в клубящемся тумане,
И вдруг под ельником, на небольшой поляне,
Когда в разрывы туч пробился лунный свет,
Увидели в песке когтей могучих след.
Мы замерли, и слух и зренья напрягая,
Стараясь не дышать. Чернела ночь глухая.
Кусты, равнина, бор молчали в мертвом сне.
Лишь флюгер где-то ныл и плакал в вышине,
Когда ночной зефир бродил под облаками
И башни задевал воздушными шагами,
И даже старый дуб в тени нависших скал,
Казалось, оперся на локоть и дремал.
Ни шороха. Тогда руководивший нами
Старейший из ловцов нагнулся над следами,
Почти припав к земле. И этот человек,
Не знавший промаха во весь свой долгий век,
Сказал, что узнает знакомую повадку:
По глубине следов, их форме и порядку
Признал он двух волков и двух больших волчат,
Прошедших только что, быть может час назад.
Мы ружья спрятали, чтоб дула не блестили,
Мы вынули ножи и, раздвигая ели,

Пошли гуськом, но вдруг отпрянули: на нас
Глядели в темноте огни горящих глаз.
Во мгле, пронизанной потоком зыбким света,
Играя, прыгали два легких силуэта,
Как пес, когда визжит и вертится волчком
Вокруг хозяина, вернувшегося в дом.
Мог выдать волчью кровь лишь облик их
тревожный,

И каждый их прыжок, бесшумный, осторожный,
Так ясно говорил, что их пугает мрак,
Где скрылся человек, непримиримый враг.
Отец стоял, а мать сидела в отдаленье,
Как та, чью память Рим почтил в благоговенье
И чьи сосцы в лесной хранительной сени
Питали Ромула и Рема в оны дни.
Но волк шагнул и сел. Передних лап когтями
Уперся он в песок. Он поводил ноздрями
И словно размышлял: бежать или напасть?
Потом оскалил вдруг пылающую пасть,
И, свору жадных псов лицом к лицу

встречая,

Он в горло первому, охрипшее от лая,
Свои вонзил клыки, готовый дать отпор,
Хоть выстрелы его дырявили в упор
И хоть со всех сторон ножи остервенело
Ему наперекрест распарывали тело, —
Разжаться он не дал своим стальным тискам,
Покуда мертвый враг не пал к его ногам.
Тогда он, кинув пса, обвел нас мутным оком.
По шерсти вздыбленной бежала кровь потоком,
И, пригвожден к земле безжалостным клинком,
Он видел только сталь холодную кругом.
Язык его висел, покрыт багровой пеной,
И, судорогой вдруг пронизанный мгновенной,
Не думая о том, за что и кем сражен,
Упал, закрыл глаза и молча умер он.

Я на ружье поник, охваченный волнением.
Погоню продолжать казалось преступленьем.
Сначала медлила вдали его семья,
И будь они вдвоем — в том клятву дал бы я, —
Великолепная и мрачная подруга
В беде не бросила б отважного супруга,
Но, помня долг другой, с детьми бежала мать,
Чтоб выучить сынов таиться, голодать,
И враждовать с людьми, и презирать породу
Четвероногих слуг, продавших нам свободу,
Чтобы для нас травить за пищу и за кров
Былых владетелей утесов и лесов.

И скорбно думал я: «О царь всего земного,
О гордый человек, — увы, какое слово,
И как ты, жалкий, сам его сумел погрязнуть!
Учись у хищников прекрасных умирать!
Увидев и познав убожество земное,
Молчаньем будь велик, оставь глупцам иное.
Да, я постиг тебя, мой хищный, дикий брат.
Как много рассказал мне твой последний взгляд!
Он говорил: усвой в дороге одинокой
Веленья мудрости суровой и глубокой
И тот стоический и гордый строй души,
С которым я рожден и жил в лесной глуши.
Лишь трус и молится и хнычет безрассудно.
Исполни мужества, когда боренье трудно,
Желанья затаи в сердечной глубине
И, молча отстрадав, умри, подобно мне».

ВИКТОР ГЮГО

1802—1885

ЧТО СЛЫШИТСЯ В ГОРАХ

О беспредельность!

Случалось ли всходить вам на гору порой —
Туда, где царствуют безмолвье и покой?
У Зундских берегов иль на скалах Бретани
Кипела ли волна под вами в океане?
Склонясь над зеркалом безбрежной синевы,
К великой тишине прислушались ли вы?

Вы б услышали то, что слух мой приковало
Под небом, на краю гигантского провала,
Где был мой дух немим восторгом обуян,
И здесь была земля, а там был океан,
И голос зазвучал, какой еще от века
Не волновал души смущенной человека.

Сперва то был глухой, широкий, смутный гул,
Как будто жаркий вихрь в лесу деревья гнул.
То песней лился он, то обращался в шепот,
То рос, как шум грозы, как дальний конский топот,
Как звон оружия, когда гремит труба
И жатвы новой ждут разверстые гроба.
Он ширился, гремел, струясь вокруг вселенной,
Он лился музыкой, нездешне вдохновенной, —
В надмирной глубине, что синевой цвела,
Волнами обтекал небесные тела,
Изменчивый и все ж хранящий постоянство,
Как форма и число, как время и пространство.

И. необъятный строй блистающих светил,
Как в воздухе земля, в стихии звуков плыл.
Повсюду — без конца, без меры, без начала —
Неизъяснимая гармония звучала.

И, зачарованный эфирных арф игрой,
Как в море, я тонул в том голосе порой.

Но, чутко вслушавшись, я вдруг услышал ясно
В одном — два голоса, звучавшие согласно:
Всемирный гимн творцу вздымая в небеса,
Земля и океан сливали голоса,
Но розно слышались в том ропоте глубоком —
Так две струи, скрестясь, текут одним потоком.

И первый был от волн — гимн славы, песнь хвалы,
И пели эту песнь шумящие валы.
Другой был от земли — глухая песнь печали,
И в нем людские все наречия звучали.
И каждый человек, и каждый в море вал
Неповторимый звук в великий хор вплетал.

Тот гимн, бушующим рожденный океаном,
Дышал и радостью, и миром несказанным.
Как струны арф твоих, ликующий Сион,
Восторженной хвалой творенье славил он.
Пред ликом Божиим, в дыханье буйном шквала,
Пучина грозная все громче ликовала,
Не молкло пенье волн — лишь падала одна,
Подхватывая песнь, другая шла волна.
Но вдруг, как ярый лев при виде Даниила,
Свой неумный рык пучина прекратила,
И, глядя на закат, узрел я над водой
Десницу Божию на гриве золотой.

И в голосе другом — как визг железа ржавый,
Вплетался он в аккорд фанфары величавой;

Так конь в испуге ржет, так стонут и скрипят,
Впуская грешников, затворы адских врат;
Так медную струну пилит смычок железный —
Проклятье таинствам, последний крик над бездной,
Как вызов, брошенный велениям судьбы,
Брань, богохульства, плач, угрозы и мольбы,
Все в общий гул слилось — так птиц полночных стая
Шумит, над сонною долиной пролетая.
Но что же было то? Мне не забыть вовек:
То плакала Земля и плакал Человек.

Два этих голоса, два непостижных зова
То умолкали вдруг, то возникали снова.
«Природа!» — рокотал один сквозь бездну лет,
И «Человечество!» — гремел другой в ответ.

И я задумался. Мой дух на той вершине
Обрел крыла, каких не обретал доньше.
Еще подобный свет не озарял мой путь.
И долго думал я, пытаюсь заглянуть
В ту бездну, что внизу, под зыбью волн таилась,
И в бездну, что во тьме души моей раскрылась.
Я вопрошал себя о смысле бытия,
О цели и пути всего, что вижу я,
О будущем души, о благе жизни брэнной.
И я постичь хотел, зачем творец вселенной
Так нераздельно слил, отняв у нас покой,
Природы вечный гимн и вопль души людской.

ЭЖЕЗИП МОРО

1810—1838

ЖАНУ-ПАРИЖАНИНУ

Импровизация во время представления «Дон-Жуана» Моцарта

О, парижанин Жан! На своего патрона,
Красуясь в ложе, ты взираешь благосклонно:
Рукоплескать ему ты можешь — это так,
Но подражать — едва ль, понять его — никак!
Ты руки утомил, фехтуя на рапирах;
Твой пистолет прошиб три сотни кукол в тирах;
Играя тросточкой, ты сбил ребенка с ног;
Заплакать он посмел — негоднику пинок!
Ты, женщину раздев и брызгая слюною,
Бормочешь: «Дон-Жуан доволен был бы мною».
О, наглость!.. Дон-Жуан? Нет, ты не Дон-Жуан!
Он знал в любви огонь, он был в любви титан.
Он — проклятый гигант, ты — карлик, хоть пролаза:
Он из геенны был, а ты — из Понтуаза;
Он пел, он бунтовал, а ты — фигляр и враль.
Стихом тебя давить — и то бумаги жаль!..
Великий птицелов, перехитрив Севилью,
Пленил Эльвиру он, Ленору, Инезилью,
Вечерних мотыльков, чья родина — Мадрид,
Чью прелесть поцелуй убьет иль опалит,
Чьей золотой пыльцой, летящей с тонких крылий,
Могли б озолотить соборы двух Кастилий.
Влюбленный в ангела, прекрасного, как день,
По хрупкой лестнице, ловя за тенью тень,
От неба к небу он по радужным ступеням
Марии мог достичь и пасть к ее коленям,

И даже с громом в бой вступая, как с людьми,
Он старому брюзге сказал бы: «Не греми!»
А твой привычный путь — по жолобу, с веревкой,
За дочкой дворника, за кухонной плутовкой;
Дуэнья, что глядит в глаза твои с мольбой
Близ жертвы, чья краса растоптана тобой,
Не мнет молитвенник пылающей рукою:
Лохмотья — плащ ее, зовется нищетою,
А птицу, что в силки обманом ты завлек,
Манит не песнь твоя, а только кошелек.
В тебе ни капли нет той крови, что пылала
От взгляда женщины под солнцем Эскурьяла.
Той крови пламенной, что Сиды создала
И, даже оскудев, Жуана дать могла!

Да, пьян от голода, храпя на дне канавы,
Народ способен вдруг восстать для бурной славы
И на бодливого бурбонского быка
Обрушить бешенство победного клинка!
Но ты... шуми, и пей, и буйствуй в лупанаре,
И похоть разжигай огнем продажной твари,
Позорь мужей, буянь средь мирных горожан,
Играй, блуди — ты все ж обыкновенный Жан!

О, если бы плебей, расстрелянный тобою,
Во мраморе воскрес над гранью гробовою
И с боем полночи, покинув пьедестал,
Когда померкнул газ и мертвый мрак настал,
В угрюмое кафе, что ты почтил визитом,
Направил грузный шаг, гудя по гулким плитам, —
На подлом лбу твоём напечатлеть позор, —
Не в кровь бы обмакнул перчатку командор,
Но, каменной рукой отшлепав щеки мрази,
Оставил бы на них клеймо из черной грязи,
И голос громовой вещал бы грозный стих:
«Геенны нет тебе, виновник бед моих!

Живи в презрении — Господь не беспощаден!
Он предназначил гром не для презренных гадин.
Нежившим стариком ты сброшен будешь в ад,
И со свету тебя спихнут ногою в зад!..»

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

1811—1872

ДРОЗД

В лесу поет и свищет птица —
Фрак черен, башмачки желты.
На ветках иней серебрится,
Но не спугнет ее мечты.

То дрозд, веселый пустомеля.
Он, не спросясь календаря,
Встречает песенкой апреля
Скупое солнце января.

Пусть Арв¹ желтеет в синей Роне,
И дождь, и стужа до костей,
И в блекло-голубом салоне
Камин приветствует гостей;

Пусть в мантиях из горностая,
Как судьи, горы и холмы
Глядят, параграф обсуждая
Обеззакониях з и м ы, —

Он чистит перышки, он скачет,
Свистит, не ведая забот.
Хоть ветер воеет, небо плачет,
Он знает, что и май придет.

¹ Арв — приток Роны.

Зовет зарю вставать с постели,
Ворчит, что ленится она.
Найдет подснежник в зимней прели
И спросит: ну а где ж весна?

Он смотрит в мрак и лучезарный
Восход предчувствует за ним.
Так в храме за стеной алтарной
Провидит бога пилигрим.

Его инстинкт не промахнется,
Он чует истину всегда,
И глуп, скажу я, кто смеется
Над философией дрозда.

УЮТНЫЙ ВЕЧЕР

Зима собачья — снег и лужи!
Все кучера дрожат от стужи.
Дал бог нам день!
Не лучше ль стул к огню придвинуть,
В камин побольше дров подкинуть —
И царствуй, лень!

В углу тахта зовет к уюту,
Манит припасть хоть на минуту
К ее груди
И, как подруга в миг разлуки,
Твердит, протягивая руки:
«Не уходи!»

Как тело нимфы, розоватый
Колпак с бахромкой, чуть примятой,
Скосился вбок
Над белым шаром лампы медной,
И лампа круг бросает бледный
На потолок.

В тиши лишь маятник неспящий
Стучит, качая диск блестящий,
Да словно зверь
Завоет ветер и дозором
Пройдет по темным коридорам
И рвется в дверь.

Я зван в посольство, но пойду ли?
Вон свесил рукава на стуле
Мой черный фрак.
Пластрон в торжественности бальной
Мерцает белизной крахмальной
Сквозь полумрак.

Ботинки узкого фасона
Зевают, щурясь полусонно
На блеск огня,
И гладки, без единой складки,
Лоснятся лайкою перчатки
И ждут меня.

Однако время! О мученье:
Глазеть, вливаясь в их течение,
На строй карет
С гербами выскочек безродных,
На прелести красоток модных,
Везомых в свет;

У двери став с любезной миной,
Следить за хлынувшей лавиной
Дельцов, вельмож,
Девиц, кокоток именитых —
В корсажах, на груди открытых,
И в платьях клеш —

Прыщавых спин, прикрытых газом,
Бесцветных глаз — где дремлет разум,
Не вспыхнет с м е х , —
Персон, известных всей Европе,
Безликих лиц в калейдоскопе,
Кружащем всех.

А там стоят богачки вдовы,
Глядят, как ястреба иль совы,
Тебе в лицо!
Шепнешь ли ей, хотя б украдкой,
В ушко под непослушной прядкой
Одно словцо?

Нет, не пойду — что толку в этом?
Пошлю записку ей с букетом,
И уж тогда
Я гнев ее обезоружу.
Она, клянусь, и в дождь и в стужу
Придет сюда.

Со мной здесь Гейне, Тэн, Гонкуры,
Не могут снег и сумрак хмурый
Проникнуть в дом.
А вечер быстро пронесется,
И на подушке мысль прервется
И станет сном.

ШАРЛЬ БОДЛЕР

1821—1867

АЛЬБАТРОС

Временами хандра заедает матросов,
И они ради праздной забавы тогда
Ловят птиц океана, больших Альбатросов,
Провожающих в бурной дороге суда.

Грубо кинут на палубу, жертва насилья,
Опозоренный царь высоты голубой,
Опустив исполинские белые крылья,
Он, как весла, их тяжело влачит за собой.

Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.

Так, поэт, ты паришь под грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.

ПРЕДРАССВЕТНЫЕ СУМЕРКИ

Казармы сонные разбужены горнистом.
Под ветром фонари дрожат в рассвете мгlistом.

Вот беспокойный час, когда подростки спят,
И сон струит в их кровь болезнетворный яд,

И в мутных сумерках мерцает лампа смутно,
Как воспаленный глаз, мигая поминутно,
И телом скованный, придавленный к земле,
Изнемогает дух, как этот свет во мгле.
Мир, как лицо в слезах, что сушит ветр весенний,
Овеян трепетом бегущих в ночь видений.
Поэт устал писать, и женщина — любить.

Вон поднялся дымок и вытянулся в нить.
Бледны, как труп, храпят продажной страсти жрицы,
Тяжелый сон налег на синие ресницы.
А нищета, дрожа, прикрыв нагую грудь,
Встает и силится скупой очаг раздуть,
И, черных дней страшась, почувяв холод в теле,
Родильница кричит и корчится в постели.
Вдруг зарыдал петух и смолкнул в тот же миг,
Как будто в горле кровь остановила крик.
В сырой, белесой мгле дома, сливаясь, тонут.
В больницах сумрачных больные тихо стонут,
И вот предсмертный бред их муку захлестнул.
Разбит бессонницей, уходит спать разгул.

Дрожа от холода, заря влачит свой длинный
Зелено-красный плащ над Сеною пустынной,
И труженик-Париж, подняв рабочий люд,
Зевнул, протер глаза и принялся за труд.

ЛЕБЕДЬ

Виктору Гюго

1

Андромаха! Полно мое сердце тобою!
Этот грустный, в веках позабытый ручей,
Симонэнт, отражавший горящую Трою
И величие вдовьей печали твоей.

Это в залежах памяти спавшее слово
Вспомнил я, Карузель обойдя до конца.
Где ты, старый Париж? Как все чуждо и ново!
Изменяется город быстрее, чем сердца.

Только память рисует блую картину:
Ряд бараков да несколько ветхих лачуг,
Бочки, балки, на луже — зеленую тину,
Груды плит, штабеля капителей вокруг.

Здесь когда-то бывал я в зверинце заезжем.
Здесь, в ту пору, когда просыпается Труд
И когда подметальщики в воздухе свежем
Бурю темную к бледному небу метут, —

Как-то вырвался лебедь из клетки постылой.
Перепончатой лапою скреб он песок.
Клюв был жадно раскрыт, но, гигант белокрылый,
Он из высохшей лужи напиться не мог.

Бил крылами и, грязью себя обдавая,
Хрипло крикнул, в тоске по родимой волне:
«Гром, проснись же! Прелейся, струя дождевая!»
Как напомнил он строки Овидия мне,

Жизни пасынок, сходный с душою моею, —
Ввысь глядел он, в насмешливый синий простор,
Содрогаясь, в конвульсиях вытянув шею,
Словно богу бросал исступленный укор.

2

Изменился Париж мой, но грусть неизменна.
Все становится символом — краны, леса,
Старый город, привычная старая Сена —
Сердцу милые, скал тяжелей голоса!

Даже здесь — перед Лувром — все то же виденье:
Белый Лебедь в безумье немой маеты,
Как изгнанник — смешной и великий в паденье,
Пожираемый вечно жаждой, и ты,

Андромаха, в ярме у могучего Пирра,
Над пустым саркофагом, вовеки одна,
В безответном восторге поникшая сирот,
После Гектора — горе! — Элена жена.

Да и ты, негритянка, больная чахоткой,
Сквозь туман, из трущобы, где слякоть и смрад,
В свой кокосовый рай устремившая кроткий,
По земле африканской тоскующий в згляд, —

Все вы, все, кто не знает иного удела,
Как оплакивать то, что ушло навсегда,
И кого милосердной волчицей пригрела,
Чью сиротскую жизнь иссушила беда.

И душа моя с вами блуждает в тумане,
В рог трубит моя память, и плачет мой стих
О матросах, забытых в глухом океане,
О бездомных, о пленных, о многих других...

ДУША ВИНА

В ночи душа вина играла соком пьяным
И пела: «Человек! Изведай власть мою!
Под красным сургучом, в узилище стеклянном,
Вам, обездоленным, я братства песнь пою.

Я знаю, на холме, разохшемся от зноя,
Так много нужно сил, терпенья и труда,
Чтоб родилось живым и душу обрело я,
И, благодарное, я друг ваш навсегда.

Мне любо литься в рот и в горло всех усталых,
Я бурно радуюсь, пускаясь в этот путь.
Чем скучный век влачить в застуженных подвалах,
Не лучше ль мертвым лечь в согревающую грудь.

Когда в воскресный день звенит от песен город,
И, грудь твою тесня, щебечут в ней мечты,
И пред тобой стакан, и твой расстегнут ворот,
И локти на столе, — недаром счастлив ты!

Глаза твоей жены зажгу я прежним светом
И сыну твоему верну я цвет лица.
Как масло мускулам, я нужно вам, атлетам,
Рожденным, чтоб с судьбой бороться до конца.

Я ниспаду в тебя амброзией растений,
Зерном, что сотворить лишь Зодчий мира мог,
Чтобы от наших встреч, от наших наслаждений
Взошла Поэзия, как редкостный цветок».

ПЕЙЗАЖ

Чтоб целомудренно стихи слагать в Париже,
Хочу, как звездочет, я к небу жить поближе,
В мансарде с небольшим оконцем, чтобы там,
В соседстве с тучами, внимать колоколам,
Когда плывет их звон широкими кругами,
Иль, щеки подперев задумчиво руками,
Глядеть — и слышать смех иль песни в мастерских,
А в мешанине стен и кровель городских
То церкви узнавать, то колоколен шпиль,
Как мачты в мареве из копоти и пыли,
И Сену там внизу, и небо в вышине,
Или о вечности мечтать, как в полусне.

Люблю глядеть во мглу, лишь улицы притихнут
И в окнах огоньки, а в небе звезды вспыхнут,
Змеится по небу из труб идущий дым,
И ворошит луна сияньем золотым.
Так пролетит весна, а за весною лето,
За осенью зима придет, в снега одета,
И плотно ставни я закрою наконец,
Чтоб возвести в ночи блистающий дворец.

Я буду грезить вновь о знойных дальних странах,
О ласках, о садах, о мраморных фонтанах,
О пенье райских птиц, о блеске синих вод,
О всем, что детского в Идиллии цветет.

Мятеж, бушующий на площадях столицы,
Не оторвет меня от начатой страницы.
И неге творчества предав свою мечту,
Там в сердце собственном я солнце обрету,
Себе Весну создам я волею своею
И воздух мыслями палящими согрею.

ТРЕВОЖНОЕ НЕБО

Твой взор загадочный как будто увлажнен.
Кто скажет, синий ли, зеленый, серый он.
Он то мечтателен, то нежен, то жесток,
То пуст, как небеса, рассеян иль глубок.

Ты словно колдовство тех вялых белых дней,
Когда в дремотной мгле душа грустит сильней,
И нервы взвинчены, и набегает вдруг,
Будя заснувший ум, таинственный недуг.

Порой прекрасна ты, как кругозор земной
Под солнцем осени, смягченным пеленой,
Как дали под дождем, когда их глубина
Лучом встревоженных небес озарена.

О, в этом климате, пленяющем навек,
В опасной женщине — приму ль я первый снег?
И наслаждения острей стекла и льда
Найду ли в зимние, в ночные холода?

* * *

Я не могу забыть в предместье городском
Наш тихий, маленький, такой уютный дом
С Венерой гипсовой, с облупленной Помоной,
К их белой наготе прильнувший куст зеленый,
Где солнце ввечеру — багряное в окне,
Ломавшем сноп лучей, — всегда казалось мне
На куполе небес, прозрачном и высоком,
Раскрытым широко и любопытным оком,
Которое следит, сходя за окоем,
Как долго, молча мы обедаем вдвоем
И зайчики скользят, играя пестрым блеском,
От белой скатерти к линиям занавескам.

СПЛИН

Когда на горизонт, свинцовой мглой закрытый,
Ложится тусклый день, как тягостная ночь,
И давят небеса, как гробовые плиты,
И сердце этот гнет не в силах превозмочь,

Когда промозглостью загнившего колодца
Нас душит затхлый мир, когда в его тюрьме
Надежда робкая летучей мышью бьется
И головой об свод колотится во тьме,

Когда влачат дожди свой невод бесконечный,
Затягивая все тяжелой пеленой,
И скука липкая из глубины сердечной
Бесшумным пауком вползает в мозг больной,

И вдруг колокола, рванувшись в иступленье,
Истошный, долгий вой вздымают в вышину,
Как рой бездомных душ, чье смертное томленье
Упорной жалобой тревожит тишину, —

Тогда уходит жизнь, и катафалк огромный
Медлительно плывет в моей душе немой,
И мутная тоска, мой соглядатай темный,
Вонзает черный стяг в склоненный череп мой.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

1

И вновь промозглый мрак овладевает нами —
Где летней ясности живая синева?
Как мерзлая земля о гроб в могильной яме,
С подводы падая, стучат уже дрова.

Зима ведет в мой дом содружеством знакомым
Труд каторжанина, смятенье, страх, беду,
И станет сердце вновь застывшим красным комом,
Как солнце мертвое в арктическом аду.

Я слушаю, дрожа, как падают поленья —
Так забивают гвоздь, готовя эшафот.
Мой дух шатается, как башня в миг паденья,
Когда в нее таран неутомимый бьет.

И в странном полусне я чувствую, что где-то
Сколачивают гроб — но где же? но кому?
Мы завтра зиму ждем, вчера скончалось лето,
И этот мерный стук — отходная ему.

Люблю зеленый блеск в глазах с разрезом длинным,
 В твоих глазах — но все сегодня горько мне.
 И что твоя любовь, твой будуар с камином
 В сравнении с лучом, скользнувшим по волне.

И все ж люби меня! Пускай, сердечной смутой
 Истерзанный, я зол, я груб — люби меня!
 Будь матерью, сестрой, будь ласковой минутой
 Роскошной осени иль гаснущего дня.

Игра идет к концу! Добычи жаждет Лета.
 Дай у колен твоих склониться головой,
 Чтоб я, грустя во тьме о белом зное лета,
 Хоть луч почувствовал — последний, но живой.

ВЕЧЕРНИЕ СУМЕРКИ

Вот вечер благодный, преступной братьи друг,
 Подходит, крадучись. Померкло небо вдруг,
 Огромный свой альков задернув шелком плотным,
 И сразу человек становится животным.

О вечер, как тебе невыразимо рад
 Кто честно трудится, чьи руки говорят:
 «Мы поработали!» Ты всех зовешь к покою:
 Томимых скукою, затравленных тоскою,
 Мыслителя, чей взор от книг не оторвать,
 Рабочих, рухнувших устало на кровать.
 А духи зла меж тем, прервав короткий роздых,
 Проснулись — как дельцы, заполонили воздух,
 Шныряют, шебаршат близ окон, у дверей...
 И среди пляшущих под ветром фонарей
 Вновь проституция зажгла у входов плошки,
 И в муравейнике все ожили дорожки.

Под грязным потолком, от люстр, давно невымытых,
Ложится желтый свет на груды серебра,
На сумрачные лбы поэтов знаменитых,
Которым в пот и кровь обходится игра.

Так предо мной прошли в угаре ночи душевной
Картины черные, пока сидел я там,
Один, вдали от всех, безмолвный, равнодушный,
Почти завидуя и этим господам,

Еще сберегшим страсть, и старым проституткам,
Еще держащимся, как воин на посту,
Спешащим промотать, продать в веселье жутком
Одни — талант и честь, другие — красоту.

И в страхе думал я, смущенный чувством новым,
Что это зависть к ним, пьянящим кровь свою,
Идущим к пропасти, но предпочтенью готовым
Страданье — гибели, и ад — небытию.

ПРОШЕДШЕЙ МИМО

Я встретил женщину. Изящна и стройна,
Придерживая трен рукой своей точеной,
В глубоком трауре, печалью воплощенной
Средь уличной толпы куда-то шла она.

Я вздрогнул и застыл, увидев скорбный рот,
Таящий бурю взор и гордую небрежность,
Предчувствуя в ней все — и женственность, и нежность,
И наслаждение, которое убьет.

Внезапный взблеск — и ночь!.. Виденье красоты!
Твой взор — он был как жизнь, промчавшаяся мимо.
Увижу ль где-нибудь я вновь твои черты?

Здесь или только там, где все невозвратно?
Не знала ты, кто я, не ведаю, кто ты,
Но оба знали мы: ты мной была б любима!

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРОМАТ

Осенним вечером, когда, глаза закрыв,
Уткнувшись в грудь твою, лежу я молчаливый,
Я слышу запах твой, я вижу край счастливый,
Где солнце буйствует, а бег минут ленив;

И знойный остров твой, и синий твой залив,
И птиц, причудливых, как сказочные дивы.
Мужчины там сильны, а женщины красивы,
И взгляд их черных глаз до странности правдив.

Я слышу запах твой — и вижу рай зеленый,
И пахнет тамаринд, и воздух благовонный
Щекочет ноздри мне. А в море паруса

И мачты — сотни мачт, от плавания усталых,
И в хаосе цветов и звуков небывалых —
Разноязычные матросов голоса.

ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ *

Если вижу я, как ты идешь, дорогая,
По эстраде, рыдающей музыке в лад,
Гармонически-плавно и гибко ступая,
И глаза твои вдалеку безучастно глядят,

Если вижу сияние этих печальных,
Словно сумрачной кистью начерченных глаз,
Если бледный твой лоб среди огней театральных
Розовеет зарею в полуночный час, —

«Как прекрасна! Как странно свежа! — говорю я. —
Иль не смято в ней сердце, как вянувший плод?
Иль не знает изысканных ласк поцелуя?
Или прошлого тяжесть ее не гнетет?»

Что же — плод ли ты, пьяным наполненный соком,
Погребальная урна, наперсница слез?
Аромат, говорящий о чем-то далеком,
Ложе неги, букет увядающих роз?

Есть глаза — я видал и х , — чей сумрак бездонный
Полон грусти, по тайна не скрыта за ней.
Без сокровищ ларцы, без святынь медальоны,
Даже Неба пустого они холодной!

Что мне в них, если ты повергаешь в смятенье,
Если сердце уводишь от Правды в Мечту!
Ты глупа? Равнодушна? Ты маска? Виденье?
Все равно! Обожаю твою красоту!

ПРЕКРАСНАЯ ЛОЖЬ ¹

Когда, небрежная, выходишь ты под звуки
Мелодий, бьющихся о низкий потолок,
И вся ты — музыка, и взор твой, полный скуки,
Глядит куда-то вдаль, рассеян и глубок,

Когда на бледном лбу горят лучом румяным
Вечерних люстр огни, как солнечный рассвет,
И ты, наполнив зал волнующим дурманом,
Влечешь глаза мои, как может влечь портрет,

¹ Французское стихосложение, построенное на метрической системе, можно передавать по-русски различными размерами. Подтверждением этому и являются два варианта перевода «Прекрасной лжи», из которых второй текстуально несколько точнее следует за оригиналом.

Я говорю себе: «Она еще прекрасна,
И странно — так свежа, хоть персик сердца смят,
Хоть башней царственной над ней воздвиглось властно
Все то, что прожито, чем путь любви богат».

Так что ж ты: спелый плод, налитый пьяным соком,
Иль урна, ждущая над гробом чьих-то слез,
Иль аромат цветка в оазисе далеком,
Подушка томная, корзина поздних роз?

Я знаю, есть глаза, где всей печалью мира
Мерцает влажный мрак, но нет загадок в них.
Шкатулки без кудрей, ларцы без сувенира,
В них та же пустота, что в Небесах пустых.

А может быть, и ты — всего лишь заблужденье
Ума, бегущего от Истины в Мечту?
Ты суетна? глупа? ты маска? ты виденье?
Пусть, я люблю в тебе и славлю Красоту.

СТАРУШКИ

Виктору Гюго

1

В дебрях старых столиц, на панелях, бульварах,
Где во всем, даже в мерзком, есть некий магнит,
Мир прелестных существ, одиноких и старых,
Любопытство мое роковое манит.

Это женщины в прошлом, уродины эти —
Эпонины, Лаисы! Возлюбим же их!
Под холодным пальтишком, в дырявом жакете —
Есть живая душа у хромых, у кривых.

Ковыляет, исхлестана ветром, такая,
На грохочущий омнибус в страхе косясь,

Как реликвию, сумочку в пальцах сжимая,
На которой узорная вышита вязь.

То бочком, то вприпрыжку — не хочет, а пляшет,
Будто дергает бес колокольчик смешной,
Будто кукла, сломавшись, ручонкою машет
Невпопад! Но у этой разбитой, больной,

У подстреленной лани глаза точно сверла,
И мерцают, как ночью в канавах вода.
Взгляд божественный, странно сжимающий горло,
Взгляд ребенка — и в нем удивленье всегда.

Гроб старушки — наверное, вы замечали —
Чуть побольше, чем детский, и вот отчего
Схожий символ, пронзительный символ печали
Все познавшая смерть опускает в него.

И невольно я думаю, видя спешащий
Сквозь толкучку парижскую призрак такой,
Что к своей колыбели, к другой, настоящей,
Он уж близок, он скоро узнает покой.

Впрочем, каюсь: при виде фигур безобразных,
В геометры не метя, я как-то хотел
Подсчитать: сколько ж надобно ящиков разных
Для испорченных очень по-разному тел?

Их глаза — это слез неизбывных озера,
Это горны, где блестками стынет металл,
И пленится навек обаяньем их взора
Тот, кто злобу Судьбы на себе испытал.

2

Ты, весталка, ты, жрица игорного дома,
Ты, которою музы гордиться могли,

Кто, до имени только суфлеру знакома,
Красотою прославила свой Тиволи, —

Ваши пьян я давно! Но меж хрупких созданий
Есть иные, печаль обратившие в мед,
Устремившие к небу на крыльях страданий
Свой упрямый, как преданность Долгу, полет.

Та — изгнанница, жертва суда и закона,
Та — от мужа одно лишь выдавшая зло,
Та — над сыном поникшая грустно мадонна, —
Все, чьи слезы лишь море вместить бы могло.

3

Сколько раз я бродил вслед за ними с любовью!
Помню, в час, когда жгучую рану свою
Обнажает закат, истекающий кровью,
Села с краю одна помечтать на скамью

Да послушать оркестр, громылавший металлом,
Хоть заемным геройством волнующий грудь,
Если в парк, освеженные вечером алым,
Горожане приходят часок отдохнуть.

И, держась еще правил, пряма как девица,
С благородным, для лавров изваянным лбом,
Эта женщина, эта седая орлица
Жадно слушала песен воинственный гром.

4

Так сквозь дебри столиц на голгофы крутые
Вы без жалоб свершаете трудный свой путь,
Вы, скорбящие матери, шлюхи, святые,
Для кого-то сумевшие солнцем блеснуть, —

Вы, кто славою были и милостью божьей,
Никому не нужны! Только спьяна подчас
Целоваться к вам лезет бродяга прохожий
Да глумливый мальчишка наскочит на вас.

Вы, стыдясь за себя, за свои униженья,
Робко жметесь вдоль стен, озираясь с тоской,
И, созревшим для Вечности, нет утешенья
Вам, обломкам великой громады людской.

Только я, с соучастием нежным поэта,
Наблюдая, как близитесь вы к рубежу,
С безотчетной любовью — не чудо ли это? —
С наслаждением тайным за вами слежу.

Я дивлюсь вашим новым страстям без упрека.
Жизнь измучила вас — я свидетель всего.
Я люблю вас во всем, даже в язвах порока,
А достоинства ваши — мое торжество.

Тени прошлого! О, как мне родственны все вы!
Каждый вечер я шлю вам прощальный мой вздох.
Что вас ждет, о восьмидесятилетние Евы,
На которых свой коготь испробовал бог!

ПАРИЖСКИЙ СОН *

Константину Гусу

1

Никем не виданный, пустынный,
Неясным ужасом пьяня,
Мне смутной предстает картиной
Пейзаж, волнующий меня.

В калейдоскоп ночных видений,
Рожденных тем далеким сном,
Не вторглась пестрота растений
Всеоживляющим пятном.

Но, горд художническим правом,
Лишь воду, мрамор и металл
В однообразье величавом
Я своевольно сочетал.

Везде бассейны, водометы,
Дворцы — под самый небосклон.
В мерцанье темной позолоты
Аркад и лестниц Вавилон.

Иль кристаллическим порталом,
Слепящим изумленный взгляд,
Вдоль стен, сверкающих металлом,
Повисший тяжело водопад.

Взамен деревьев — колоннады,
Взамен купальщиц у воды —
Окаменелые наяды
И неподвижные пруды.

И сотней платов, расстеленных
До рубежей, где ночь и мгла,
В оправках розово-зеленых
Озер лазурных зеркала.

Вода без ряби или всплеска,
Зажатый в камни оком,
Стекло, ослепшее от блеска
Всего, что отразилось в нем,

И, безучастный и безбурный,
Тот Ганг заоблачных высот,

Что благодать из влажной урны
Во тьму алмазной бездны льет.

Я, зодчим мира став неожиданно,
Свой утверждая произвол,
Над буйной синью океана
Туннель сверкающий возвел.

Все было радугой и светом,
Весь мир в кристальный блеск одет,
И лучезарным семицветом
Искрился прежний черный цвет.

Но ни звезды в пустом эфире,
Ни края солнца, даже днем,
И вещи в этом странном мире
Светились собственным огнем.

Затихла движущая сила,
Беззвучный, был он только зрим,
И страшным новшеством царило
Молчанье Вечности над ним.

2

Проснувшись, увидел я снова,
Сквозь блеск в очах, мое жилье
И вновь отчаянья былого
В душе почувал острие.

А полдень погребальным звоном
Входил в сознание мое,
Накрыв угрюмым небосклоном
Глухое, злое бытие.

ПУТЕШЕСТВИЕ *

1

Для мальчишки, влюбленного в карту, в эстампы,
Как его ненасытность, земля велика.
Все громадно при свете мигающей лампы,
В свете памяти даже громадность мелка.

Пробил час — мы извели язвы людские
И с презреньем спешим унести поскорей
Горечь сердца в баюканье влажной стихии,
Беспредельность желаний в предельность морей.

Тот бросает свой дом, чтоб укрыться в туманах,
Тот бежит от проклятой отчизны, а тот
От жестокой Цирцеи, от запахов пряных —
Заблудившийся в женских глазах звездочет.

Чтоб животным не стать на прельстительном ложе,
Он спешит небеса и пространства встречать.
Зной и холод оттиснутся бронзой на коже
И сотрут поцелуев постыдных печать.

Но лишь тот путешественник, странник по крови,
Кто плывет, чтобы плыть, — без тревог, без забот:
Все равно что-нибудь да окажется внове,
Так куда — неизвестно, но только вперед!

В нем желанья растут и уходят, как тени,
И, как пленник — Свободу, предчувствует он
Необъятный, изменчивый мир наслаждений,
Для которых язык не находит имен.

2

Как волчок или шар, в нашей пляске нелепой
Все мы кружимся, скачем. Нас даже во сне

Любопытство терзает, как Ангел свирепый,
Вечно звезды бичующий там, в вышине.

Станный жребий! — Бежать к убегающей цели,
К ней, везде и нигде и всегда никакой,
Слепо веря при этом, почти с колыбели,
Что найдем в лихорадочном беге покой.

О, душа! О, корабль, в Икарию плывущий!
Окрик с мостика: «Вахтенный! Видишь, земля!»
Пылкий голос: «Там слава, там райские кущи!
Там Любовь...» Это риф на пути корабля!

Каждый остров, замеченный в дымке туманной,
Кто из нас Эльдорадо своим не считал?
И фантазия буйствует в оргии пьяной,
Чтобы утром наткнуться на линию скал.

Бесноватый любовник земель небывалых!
Заковать тебя в цепи иль рыбам швырнуть,
Открыватель Америк, в миражах и шквалах
Пролагающий горький, как море, свой путь!

Так бродяга, храпящий в грязи, под забором,
Мнит, воззрившись на небо, что рай недалек,
Видя Капуи брег зачарованным взором
Там, где в жалкой лачуге блеснул огонек.

3

Пилигримы чудесного! Больше, чем море,
Собрала ваша память бесценных даров.
Раскрывайте ларцы ваших славных историй,
Где горят ожерелья из звезд и ветров!

Мы без пара и паруса странствовать будем!
Разгоните тоску городской маеты!

Покажите картины бескрайности людям,
Растянув их умы, как на раме холсты!

— Что вы видели?

4

— Видели звезды и зори,
Волны, волны, мы видели также пески,
Но порой и средь бурь, в разыгравшемся море,
Изнывали, как здесь, от смертельной тоски.

Величавое солнце над зыбью лиловой,
Городов величавость на рдяной заре
Опьяняли наш дух невозможностью новой
Потонуть в многоцветной небесной игре.

Ни в роскошных Пальмирах, ни в бездне зыбучей —
Мы ни в чем не встречали такой красоты,
Как во всем, что из облака делает случай,
И желанье рвалось из земной тесноты.

В наслажденьях желанье и крепнет и зреет,
Так деревьям дают удобрения рост,
И меж тем как грубеет кора и стареет,
Ветви тянутся к солнцу и выше, до звезд!

— Значит, больше в них силы, чем в самых огромных
Кипарисах? — А вот, чтоб судить вы могли,
Вот вам зеркало мира в набросках альбомных,
Вам, влюбленным во все, что мелькнуло вдали!

Что мы видели? — Идола с хоботом в храме,
Трон в алмазах, блиставший как некий кумир,
И такие дворцы раскрывались пред нами,
Что на них разорился б любой ваш банкир.

Красок пиршество, праздник одежд и уборов,
Женщин, красящих зубы и ногти ноги,
Обвиваемых ласковой коброй жонглеров...

5

— А еще? А еще?

6

— О ребячи мозги!

Не забыть бы о главном: как дома, в отчизне,
Не ища, мы встречали, куда б ни пришли,
Тот же грех на бессмысленной лестнице жизни,
Те же язвы на всех протяженьях Земли.

Подлость женщины, глупой и чванной рабыни,
Преуспевшей в искусстве торговли собой.
Грубость, алчность, разврат и обжорство в мужчине,
Обращаемом в рабство своей же рабой,

Кровь и пытки, казнимую завистью славу,
Обреченных рыдания и смех палача,
Власть без удержу — всех самодержцев отраву,
И народ на коленях, просящий бича,

Сто религий, как наша, с ключами от рая
Для покорных, подвижников целый синклит,
Тех, что спят, сладострастье души распаяя,
На гвоздях, как на ложе любви — сибарит.

Пьяный гением предков гигант, неспособный
Сумасшествие вечных страстей побороть, —
Человечество стонет в агонии злобной:
«Проклинаю тебя, мой двойник, мой Господь!»

И не много таких, кто отбились от стада,
Кто умней, но чей разум безумье влечет,
Для кого в безграничных наркозах отрада
— Вот о нашей планете правдивый отчет.

7

Горек плод путешествий: понять, что от века
Тесен мир, одинаков и весь — как тиски,
Что в веках и пространствах лицо человека
Это страшный оазис в пустыне тоски!

Так бежать? Иль остаться? Беги, если бремя
Невтерпеж, иль останься и прячься, как крот,
Чтоб тебя обошло, не заметило Время,
Враг всезрящий и лютой. И кто-то пойдет

Вечным Жидом, апостолом, вдаль, без дороги,
Вплывь, куда ни закинет прилив иль отлив,
Только б вырваться вон! А иной без тревоги
Проживет, в первой встрече врага умертвит.

Но когда он пяту нам поставит на спину,
Братья, крикнем: «Вперед!» — и на всех парусах,
Как ходили в Голконду, в Китай, Кохинхину —
Ветер в гриве и все горизонты в глазах! —

Морем тьмы поплывем, непроглядной, бездонной,
Точно юноши, радуясь: плыть в никуда!
Чу! Не хор ли чарующий, пусть похоронный,
Он поет: «Приходите, кто жаждет плода

Ароматного Лотоса, чистого сока,
По которому ваши тоскуют сердца!
Опьяняйтесь его волшебством у истока,
Этой братской сиесте не будет конца!»

Мы узнаем по голосу милые тени,
Это наши Пилалы. И голос другой —
Той, которой мы здесь целовали колени:
«Жар души близ Электры своей успокой!»

8

Старый кормщик, о Смерть! Ты всегда у кормила!
Мы тоскуем, вели поднимать якоря!
Если море и небо черны, как чернила,
То сердца наши ярче горят, чем заря!

Напой нас твоим примиряющим ядом!
Нас терзает тоска по другому пути!
Все равно, чем он кончится, — Раем иль Адом,
Только б *новое* там, в Неизвестном, найти!

ХОСЕ МАРИА ДЕ ЭРЕДИА

1842—1905

ФОНТАНУ INDIA

Когда в безлюдной мгле фонтан журчит слышней,
И воздух мягкий свеж, и в сон ушла долина,
И мысли, как вода из полного кувшина,
Выплескиваются из недр души моей,

И в лунном волшебстве доступней и теплей
Резцом рожденный стан под складками муслина, —
В своем безумии прелестном неповинна,
Мечта спешит найти любимый облик в ней.

О, роза Индии! Не твой ли мир девичий
Навек разбил Колумб, презрев чужой обычай.
Тебя ль баюкала влюбленная волна?

О Куба, спящая в спокойствии глубоком,
Средь пальм, клонящихся к немолкнувшим потокам,
Где ночь сиянием и шепотом полна!

ЖЕЛАНИЕ

И мне бы жить в краю, где, чуждые наветам,
Героев женщины рождали от богов
И солнце, восходя под звон античных строф,
Нагие груди муз ласкало ярким светом.

Я также мог бы стать в Олимпии атлетом,
С Орфеем гордый спор вести в кругу певцов
И бога нового почуять тайный зов —
Никто искать богов не запрещал поэтам.

Но я не в Греции рожден судеб игрой,
И форма мудрая, где жил античный строй,
С Амуром умерла. Поэт любить не может.

Но он упорствует — и все, что создал он,
Неукротимую надеждой ослеплен,
Навек поглотит Ночь и Время уничтожит.

БЮСТУ ПСИХЕИ

В дворцовом парке, там, где в полдень спит аллея,
Где лишь пчела жужжит и поздний дрозд поет,
Где сорною травой зарос водопровод,
Белея мрамором, в тени стоит Психея.

Резец Флоренции, афинский дух лелея,
Ей жизнь и форму дал. И к ней шиповник льнет,
И песнь из губ цветка стремится в небосвод,
Как смех серебряный, над сонной чашей рея.

Стряхая золото с тычинок, на цветок
Спустился, трепеща, лазурный мотылек
И сладкий пьет нектар из этой чаши зыбкой.

И мнится, в мраморе единство обрели
И чистота небес и красота земли —
И дрогнул нежный лик аттической улыбкой.

СТЕФАН МАЛЛАРМЕ

1842—1898

* * *

Тоскует плоть, увы! К чему листать страницы?
Все книги прочтены! Я чувствую, как птицы
От счастья пьяны там, меж небом и водой.
Бежать, бежать! Ни сад, заросший лебедой, —
Пусть отражался он так часто в нежном взоре —
Не исцелит тоску души, вдохнувшей море,
О ночь! ни лампы свет, в тиши передо мной
Ложющийся на лист, хранимый белизной,
Ни молодая мать, кормящая ребенка.
Уходим в плаванье! Мой стимер, свистни звонко
И в мир экзотики, в лазурь чужих морей,
Качая мачтами, неси меня скорей.

ПОЛЬ ВЕРЛЕН

1844—1896

* * *

Я также отдал экзотизму дань:
Я проникал в гаремы Гюлистана,
Я покидал роскошный двор султана
Для папских оргий и для римских бань.
И в ароматах, в звуках утопая,
Я строил замки чувственного рая.

С тех пор я поумнел, утих мой пыл,
Я знаю жизнь, мечтам не верю вздорным.
Не то чтобы я стал совсем покорным,
Но прыть воображенья укротил.

За грандиозность я гроша не дам.
Галантность мне всю жизнь давалась туго.
Спасаюсь от расчетливого друга,
От рифм неточных и красивых дам.

ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

Сначала — музыку! Певучий
Придай размер стихам твоим,
Чтоб невесом, неуловим,
Дышал воздушный строй созвучий.

Строфу напрасно не чекань,
Пленяй небрежностью счастливой,

Стирая в песне прихотливой
Меж ясным и неясным грань.

Так взор манит из-под вуали,
Так брезжит в мареве заря,
Так светят звезды ноября,
Дрожа во мгле холодной дали.

Ищи оттенки, не цвета,
Есть полутон и в тоне строгом.
В полутонах, как флейта с рогом,
С мечтой сближается мечта.

Беги рассудочности точной,
Вульгарной удали острот —
И небо в ужас приведет
Дешевой кухни дух чесночный.

Сломай риторике хребет!
Чтоб стих был твердым, но покорным,
Поставь границы рифмам вздорным —
Куда ведет их буйный бред?

И кто предскажет их проказы?
Глухой ли мальчик, негр шальной —
Кто создал перлы в грош ценой,
Стекляшки выдал за алмазы?

Так музыку — всегда, везде!
Пусть будет стих твой окрыленный
Как бы гонцом души влюбленной
К другой любви, к другой звезде!

И если утро встанет хмуро,
Он, пробудив цветы от сна,
Дохнет, как ветер, как весна.
Все прочее — литература!

НОЧНОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Ночь. Ливень. Небосвод как будто наземь лег.
В него готический вонзает городок,
Размытый серой мглой, зубцы и шпиль старинный.
На виселице, ввысь торчащей над равниной,
Застыв и скорчившись, повисли трупы в ряд.
Вороны клювами их, дергая, долбят,
И страшен мертвых пляс на фоне черной дали.
А волки до костей их ноги обглодали.
В лохматый, сажею наляпанный простор
Ключий остролист крюки ветвей простер.
А там три смертника, расхристанны и дики,
Шагают босиком. И конвоиров пики
Под пиками дождя в гудящий мрак небес,
Сверкая, щерятся, струям наперерез.

* * *

Пейзаж стремительно бежит меж занавесок.
Равнины хмурые — то луг, то перелесок,
То небо, то река, то город — мчатся прочь,
Как стаи призраков проваливаясь в ночь,
То вырвутся столбы и росчерком огромным
В сплетенье проволок мелькнут на небе темном.
Свистящий в недрах пар, горящий уголь, чад,
Колес железный лязг — как будто целый ад
Волочит на цепях, кору земную сдвинув,
Визжащих, воющих, вопящих исполинов,
И вдруг молчанье, лес — и долгий стон сына.

Но что мне в этом всем? У моего плеча
Виденье белое, и голос нежный снова
Твердит одно, одно волнуемое слово.
И снова имя то, чьей музыке дана
Такая чистота, такая глубина, —

Ось мира моего — в уют вагона тесный,
В его железный ритм вплетает звук небесный.

* * *

Я шесть недель прождал, осталось двадцать дней!
Да! Меж тревог людских тревоги нет сильней,
Нет муки тягостней, чем жить вдали, в разлуке.

Писать «люблю тебя», воображать и руки,
И губы, и глаза, часами — взор во взор —
Вести лишь мысленный, безмолвный разговор
С ней, кем озарено твое существование,
И все — без отклика, и каждое желанье,
И вздох, с которым к ней прильнуть хотел
бы ты,
Вверять глухим стенам, молчанью пустоты!

Разлука! Месяцы хандры, тоски, досады!
Мы вспоминаем все: слова, движенья, взгляды,
В их тусклом хаосе на ощупь ловим нить,
Которая могла б надежду возратить,
И лишь отраву пьем в усилиях бесполезных.

И вдруг язвительней, больней оков железных,
Быстрее пуль и птиц, и ветра южных вод —
Сомненья жалкого гнилой и горький плод,
Опасный, как кинжал, который смазан я д о м , —
Рожденное одним припомнившимся взглядом,
Безумье ревности охватывает нас.

Ужель она лгала? И вот, который раз,
Облокотясь на стол, от слова и до слова
Письмо, ее письмо, прочитываешь снова
И слезы счастья льешь, настолько все оно
Любовью, нежностью, тоской напоено.

Ну, а потом? Потом? Быть может, изменила?
Кто знает! И опять томительно, уныло
Уходят в вечность дни, как сонная река.
Так что же, помнит ли? Или с другим близка?
Могла ль она забыть, как пылко обещала?

И вновь, устав шагать, читаешь все сначала.

ЧАС ЛЮБВИ

На мгlistом небе красный рог луны.
Туман как будто пляшет у опушки.
Луг задремал, лишь квакают лягушки,
И странной дрожью заросли полны.

Уже закрылись чаши сонных лилий,
В кустарнике мерцают светляки.
Как призрачные стражи вдоль реки,
Вершины в небо тополя вонзили.

Со сна метнулись и куда-то прочь
Сквозь душный мрак летят большие птицы.
Бесшумно блещут бледные зарницы,
И всходит белая Венера. Это Ночь.

* * *

Попойки в кабаках, любовь на тротуарах,
Когда намокший лист летит с платанов старых,
Когда разболтанный, как будто сам он пьян,
Железа, дерева и грязи ураган,
Вихляясь, омнибус гремит кривоколесый,
И красный глаз его дрожит во тьме белесой,
И каплет с крыш, и льет из водосточных труб,
Когда рабочие бредут на вечер в клуб
И полицейским в нос дымят их носогрейки,

Расквашенный асфальт, осклизлые скамейки,
И сырость до костей, и крик вороньих с т а й, —
Все это жизнь моя, моя дорога в рай.

ЛУННЫЙ СВЕТ

Твоя душа — как тот пейзаж Ватто,
Где с масками флиртуют бергамаски,
Где все поют и пляшут, но никто
Не радуется музыке и пляске.

Поют под лютню, на минорный лад,
Про власть любви, про эту жизнь в усадях,
Но сами счастью верить не хотят,
А лунный свет, как бы дрожа в руладах

Печальной лютни, в ночь томленье льет,
И птица, внемля музыке, мечтает,
И средь печальных статуй водомет,
Восторга полный, водомет рыдает.

* * *

От лампы светлый круг, софа перед огнем,
И у виска ладонь, и счастье быть вдвоем,
Когда легко мечтать, любимый взор встречая,
И книгу ты закрыл, и вьется пар от чая.
И сладко чувствовать, что день умчался прочь,
И сюету забыть, и встретить вместе ночь,
Союзицу любви, хранительницу тайны.
Как тянется душа в тот мир необычайный,
Считая каждый миг и каждый час кляня,
Из тины тусклых дней, опутавших меня.

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Из тьмы, среди сполохов бурных,
Восходит в небо сентября
В лохмотьях рыжих и пурпурных
Кроваво-красная заря.

Бледнеет ночь и в блеске тонет,
Скатав свой мягкий синий плащ;
Продрогший Запад тени гонит,
Уже прозрачен и блестящ.

Курится луг, росой сверкая,
Но свет прорезал облака,
И, точно сталь клинка нагая,
Под солнцем вспыхнула река.

Но вдруг туман завесил дали,
Слились вода, листва, трава.
И зазвенели, засвистали
Невиданные существа.

В борьбе меж сумраком и светом
Плывет калейдоскоп картин:
Там вырос хутор силуэтом,
Там осветился дом один,

Зажглось окно, и луч слепящий,
Как молнию, метнуло в лес,
Еще безвольный, темный, спящий,
Там выплыл шпиль и вдруг исчез.

И день встает, росой омытый,
На борозде блестит сошник.
Но, властный, резкий и сердитый,
Раздался петушинный крик,

Провозгласив холодный, хмурый,
Украденный у дремы час,
Час сухарей, скрипящей фуры,
Усталых, воспаленных глаз,

Когда восходит дым из хижин,
И лают псы у всех ворот,
И, тяжелой долею принижен,
Из дома труженик бредет,

Меж тем как радостно и строго,
Встречая день, прогнавший мглу,
Во славу любящего бога
Колокола поют хвалу.

АРТЮР РЕМБО

1854—1891

**ПАРИЖСКАЯ ОРГИЯ,
ИЛИ
ПАРИЖ ОПЯТЬ ЗАСЕЛЯЕТСЯ¹**

Эй вы, трусы! Всем скопом — гоп-ля на вокзалы!
Солнца огненным чревом извергнутый зной
Выпил кровь с площадей, где резвились Вандалы.
Вот расселся на западе Город святой!

Возвращайтесь! Уже отгорели пожары.
Обновленная, льется лазурь на дома,
На проспекты и храмы, дворцы и бульвары,
Где звездилась и бомбами щерилась тьма.

Забивайте в леса ваши мертвые замки!
Старый спугнутый день гонит черные сны.
Вот сучащие ляжками рыжие самки:
Обезумейте! В злобе вы только смешны.

В глотку им, необузданным сукам, припарки!
Вам притоны кричат: обжирайся! кради!
Ночь низводит в конвульсиях морок свой жаркий.
Одинокие пьяницы с солнцем в груди,

Пейте! Вспыхнет заря сумасшедшая снова,
Фейерверки цветов рассыпая вокруг вас,

¹ Стихотворение написано сейчас же после разгрома Коммуны и обращено к версальцам.

Но в белесой дали, без движенья, без слова,
Вы утопите скуку бессмысленных глаз.

Блюйте в честь Королевы обвислого зада!
Раздирайтесь в икоте и хнычьте с тоски
Да глазейте, как пляшут всю ночь до упада
Сутенеры, лакеи, шуты, старики.

В бриллиантах пластроны, сердца в нечистотах!
Что попало валите в смердящие рты!
Есть вино для беззубых и для желторотых —
Иль стянул Победителям стыд животы?

Раздувайте же ноздри на запах бутылок!
Ночь в отравках прожгите! Плевать на рассвет!
Налагая вам руки на детский затылок,
«Трусы! будьте безумны! — взывает П о э т . —

Даже пьяные, роясь у Женщины в чреве,
Вы боитесь, что, вся содрогаясь, бледна,
Задохнувшись презреньем, в божественном гневе
Вас, паршивых ублюдков, задушит она.

Сифилитики, воры, цари, лицедеи,
Вся блудливым Парижем рожденная мразь!
Что ему ваши души, дела и затеи?
Он стряхнет вас и кинет на свалку смеясь.

И когда на кишках своих, корчась и воя,
Вы растянетесь в яме, зажав кошельки,
Девка рыжая с грудью, созревшей для боя,
И не глянув на падаль, взметнет кулаки».

Насладившийся грозно другой карманьолой,
Поножовщиной сытый, в года тишины
Ты несешь меж ресниц, точно пламень веселый,
Доброту небывалой и дикой весны,

Город скорбный, изведавший смертные годы,
Торс богини, закинутый в будущий мир,
Ты, пред кем распахнуло Грядущее входы,
Милый Прошлому, темных столетий кумир,

Ныне труп намагниченный, пахнущий тленом,
Ты, воскреснув для ужаса, чувствуешь вновь,
Как ползут синеватые черви по венам,
Как в руке ледяной твоя бьется Любовь.

Что с того! И могильных червей легионы
Не преграда цветенью священной земли.
Так вампир не потушит сиянье Юноны,
Звездным золотом плачущей в синей дали.

Как ни горько, что стал ты клоакой зловонной,
Что любому растленное тело даришь,
Что позором возлег средь Природы зеленой,
Твой Поэт говорит: «Ты прекрасен, Париж!»

Не Поэзия ль в буре тебя освятила?
Полный сил, воскресаешь ты, Город-пророк!
Смерть на страже, но знамя твое победило,
Пробуди для вострубья умолкнувший рог!

Твой Поэт все запомнит: слезу Негодая,
Осужденного ненависть, Проклятых боль.
Вот он, Женщин лучами любви истязая,
Сыплет строфы. Танцуй же, разбойная голь!

.

Все на прежних местах! Как всегда, в лупанарах
Продолжаются оргии ночью и днем,
И в безумии газ на домах и бульварах
В небо мрачное пышет зловещим огнем.

АНРИ ДЕ РЕНЬЕ

1864—1936

ФРАНЦУЗСКИЙ ГОРОД

Встаю — и за город. Уже с зарей не спится.
Мои шаги звучат по гулкой мостовой.
Вот брызнул первый луч, краснеет черепица.
Благоухает сад, одевшийся листвою.

Лишь эхо пробудив на улочке замшелой,
Я медленно иду. Нет ни души вокруг.
Бульжник кончился, и по дороге белой,
Предместье миновав, я выхожу на дуг.

И вот уже стою на отмели размытой.
Гляжу назад: внизу, в излучине речной,
Спокойный, маленький, заброшенный, забытый,
Мой тихий городок лежит передо мной.

Здесь видно все: вон пруд, вон мост над речкой сонной,
Площадка для игры в лапту, а рядом с ней
Церквушка старая, и купол подновленный
Блестит над зеленью столетних тополей.

Лазурь безоблачна, а воздух так хрустален!
Уже неясный шум людей я узнаю,
Крик детворы, и стук далеких наковален,
И хлопанье валька по мокрому белью.

Себя он сам забыл, неслышно прозябая,
Он чужд величию, не блещет красотой.
Он тихий городок, провинция глухая,
Как двести лет назад, невзрачный и простой.

Один из множества, он схож, как брат, с другими.
В горах, в низинах Ланд найдешь таких, как он.
Его французское бесхитрое имя
С трудом запомнится в ряду других имен.

И все ж, когда весь день брожу я, молчаливый,
Неведомо зачем, с мечтой наедине,
И солнце скроется, и потемнеют нивы,
И притаится лес в прозрачной тишине,

Когда, сгустившись, ночь на мир накинёт узы,
И под ногой шуршит дорога, не пыля,
И вдруг уловит слух, как ропщут смутно шлюзы,
Как шепчутся, клонясь к каналу, тополя,

И мой усталый шаг, замедлясь понемногу,
Приводит к городу, и близок отдых мой,
И первое окно на темную дорогу
От лампы бросит луч, во мраке золотой, —

Я, палкой щупая тропинку пред забором,
Внезапно чувствую, уже оваян сном,
Что это Родина, сияя нежным взором,
Мне руку протянув, ведет меня в свой дом.

ЛУИ АРАГОН
Род. в 1897 году

ИЗ ПОЭМЫ «ГЛАЗА ЭЛЬЗЫ»

1

Глаза Эльзы

В глубинах глаз твоих, где я блаженство пью,
Все миллиарды звезд купаются, как в море.
Там обретало смерть безвыходное горе.
Там память навсегда я затерял свою.

Вот словно стая птиц закрыла небеса,
И меркнет океан. Но тень ушла — и снова
Глаза твои синей простора голубого
Над спелым золотом пшеницы иль овса.

Расчистится лазурь, померкшая в тумане,
Но все ж синей небес, омывшихся грозой,
Твои глаза, мой друг, блестящие слезой.
Стекло всегда синей в разломе иль на грани.

О свет увлажненный, о мать семи скорбей,
Ты призму пронизал семью мечами цвета.
Когда рассвет в слезах, день плачется с рассвета,
При черной чашечке цветок всегда синей.

Две бездны синих глаз, два озера печали,
Где чудо явлено — пришествие волхвов,
Когда в волнении, увидев дом Христов,
Они Марии плащ над яслями узнали.

Довольно уст одних, когда пришла весна,
Чтоб все слова сказать, все песни спеть любимой,
Но мало звездам плыть во мгле неизмеримой,
Нужна им глаз твоих бездонных глубина.

Ребенок, широко раскрыв глаза, дивится,
Когда он узнает прекрасного черты,
Но если делаешь глаза большие ты,
Не могут и цветы под ливнем так раскрыться.

А если молния в лаванде их блеснет,
Где празднуют любовь миллионы насекомых,
Я вдруг теряю путь среди светил знакомых,
Как погибающий в июле мореход.

Но радий я извлек из недр породы мертвой,
Но пальцы я обжег, коснувшись невзначай.
Сто раз потерянный и возвращенный рай,
Вся Индия моя, моя Голконда — взор твой.

Но если мир сметет кровавая гроза
И люди вновь зажгут костры в потемках синих,
Мне будет маяком сиять в морских пустынях
Твой, Эльза, яркий взор, твои, мой друг, глаза.

2

Ночь изгнания

Что изгнаннику, если цвета на экране
Неверны, — он Париж узнает все равно,
Пусть он в призраки, в духов не верит давно —
Слышу, скажет он, скрипок игру в котловане.

Тот блуждающий, скажет он вам, огонек —
Это Опера. Если б в глазах воспаленных

Унести эти кровли и плющ на балконах,
Изумруды, чей блеск в непогодах поблек!

Мне знакома, он скажет, и эта скульптура,
И плясуньи, и дева, что бьет в тамбурин,
И на лицах — мерцанье подводных глубин.
Как спросонья, глаза протирает он хмуро.

Вижу чудища в свете неоновых лун,
Ощущаю под пальцами бледность металлов,
И рыданиям моим среди слез и опалов
Вторят в Опере стоны раструбов и струн.

Предвечерний парижский ты помнишь ли час?
Эти розы и странные мальвы на скверах,
Домино, точно призраки в сумерках серых,
Каждый вечер менявшие платья для нас.

Помнишь ночи — как сердца тоску превозмочь —
Ночи в блесках, как черные очи голубки.
Что осталось нам? Тени? Сокровища хрупкие?
Лишь теперь мы узнали, как сладостна ночь.

Тем, кто любит, прибежище дарит она,
И с фиалковым небом парижского мая
Шли не раз твои губы в пари, дорогая.
Ночи цвета влюбленности! Ночи без сна!

За тебя все алмазы сдавал небосвод.
Сердце ставил я на кон. Над темным бульваром
Фейерверк расцветал многоцветным пожаром—
К звездам неба летящий с земли звездомет.

Плутовали и звезды, как помнится мне.
В подворотнях стояли влюбленные пары,
Шаг мечтателей гулкий будил тротуары,
Ерник-ветер мечты развевал в тишине.

Беспредельность объятий заполнив собой,
Мы любили, и в ночь твоих глаз не глядели
Золотые глаза непогасшей панели.
Освещала ты полночь своей белизной.

Есть ли там першероны? В предутренней рани
Овощные тележки, как прежде, скрипят
И на брюкве развозчики синие спят?
Так же лошади скачут в марлийском тумане?

И на крюк Сент-Этьен поддевает ларьки,
И сверкают бидоны молочниц лукавых,
И, распяв неких монстров, на тушах кровавых
Укрепляют кокарды, как встарь, мясники?

Не молчит ли, кляня свой печальный удел,
С той поры, как любовь удалилась в затворы,
Граммфон возле нашего дома, который
За пять су нам французские песенки пел?

В тот потерянный рай возвратимся ли мы,
В Лувр, на площадь Согласия, в мир тот огромный?
Эти ночи ты помнишь среди Ночи бездомной,
Ночи, вставшей из сердца, безутренной тьмы?

3

Кавардак на слякоти

Что за чертово время у нас на земле!
Так чудит, точно спутало Ниццу с Шатле,
Берег моря с его Променад дез Англе
Крайне выглядит странно.

Едет грязный обоз, на прохожих пыля.
Люди голые ищут себе короля.
Люди в золоте мерзнут, как мерзнет земля.
Девка ждет хулигана.

Птичьи головы вертятся как флюгера.
Продаю. Козыряю девяткой. Игра!
Вы бы шли в монастырь, дорогая сестра.
Не к лицу вам подмостки.

Все слова — точно эхо, упавшее в гроб.
Море зелено, точно фасолевый боб,
И «Негреско», попав под холодный потоп,
Стал бесцветней известки.

Что за чертово время! Валит без дорог!
Март чихает, и на небо синий клочок
Ассигнацией тысячефранковой лег,
Принял синий оттенок.

Бедный Петер Шлемиль, что же с тенью твоей?
Для чего ты запрятал ее от людей?
Иль какой-то тебя соблазнил чародей
Тень продать за бесценнок?

Что ж ты, изгнанный чертом с земли, со стены,
Ищешь новую тень на дорогах страны,
Ты, блуждающий символ ужасной весны
Сорок первого года!

Ну и время! Часам перепутало счет.
Жен спроведило вон иль пустило в расход
И твердит, будто волки — любезный народ
И добра их порода.

Ну и чертово время! Без ордера нет
Ни житья, ни рубашки простой, ни конфет,
Забирай колбасу, если ищешь букет,
Хохочи, если мало!

Ну и чертово время! Все в мире — как дым!
Прежний друг обернулся врагом, и каким!
Черный кажется белым, хороший — плохим.
И запретов не стало.

4

Пасторали

Маркиз там ездит на мотоциклетке,
Там под бебе рядится старый кот.
Сопляк там ходит в дамской вуалетке
И, трам-пам-пам, пожарник помпы жжет.

Гниют на свалке там слова святые,
Слова пустые подняты на щит.
Там бродят ножки дочерей Марии,
И там спина эстрадницы блестит.

Там есть ручные тачки и повозки,
Автомобилей там неупорот.
Суют во все свой нос там недоноски,
А трус иль плут во сто карат идет.

Видальщины, скажу я без обиды,
Навидишься у этих берегов!
Девиц невидных, потерявших виды,
Бандитов видных, с виду добряков,

Самоубийц, кидающихся в воду,
Тузов без карт, под видом правды ложь,
И жизнь идет там через пень-колоду,
И ценности не ценятся ни в грош.

ИЗ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ

ДЖОНАТАН СВИФТ

1667—1745

БАСНЯ О МИДАСЕ *

(На герцога Мальборо лорда Черчилля, чье имя как мошенника и казнокрада стало нарицательным)

Жил-был на свете царь Мидас.
Он чудеса творил не раз:
Он воду, камень, сажу, мел —
Все сделать золотом умел.
Отломит хлеб — и не безделка:
Полна дублонами тарелка,
Простое яблоко берет,
А сунет золотое в рот,
Наденет шляпу — шлем Мамбрена
Уже блестит на нем отменно,
Возьмет овса иль гречки сноп,
Глядишь — а он монеты сгреб.
С того и сказ пошел когда-то:
Мол, счастье — все равно что злато!

Он был везучим дураком,
А порешили все кругом,
Что он мудрец. И захотели
Кифары бог и бог свирели,
А проще — Пан и Аполлон,
Чтоб разрешил их тяжбу он:
Кто из двоих сильнее талантом?
Кому быть первым музыкантом?

Мидас прослушал их, зевнул
И лавры Пану протянул,
Все чары струн отдать готовый
За трель свистульки тростниковой.
Как дернет за уши в ответ
Мидаса гневный Кифаред!
Была отомщена кифара:
Ушей прямых и длинных пара —
Их ни позолотить, ни скрыть —
Судьи вознаградила прыть.
Ему пришлось в колпак рядиться.
Решил пойти в Пактол помывться —
И взяли волны у него
Дар делать золото из всего.
С тех пор — от богачей до голи —
Все ищут свой профит в Пактоле,
В золотобрызгущей реке
И в золотом ее песке,
И пополняют этим кассу
Уже без зависти к Мидасу,
Поняв — таков всеобщий г л а с , —
Что он осел, судья Мидас.

Так, друг читатель, и ведется:
Подобный лидер попадетсЯ
И, смотришь, действует как раз,
Как этот самый царь Мидас.
Обходит без труда законы —
Подарки, взятки, пенсии
С живого, с мертвого дерет,
И от всего ему доход.
На деньги нюх имеет лисий,
Умеет брать процент с комиссий
И делать золотом само
Обыкновенное дерьмо.

А люди голодают в массе,
Как было и при том Мидасе.

К тому ж Мидасы новых дней
Хотя наглей, но не умней,
И совесть говорит в них глуше.
Они уже не прячут уши.
Их стало много, ибо там,
Где счета нет любимым скотам,
Где столько глупого народу,
Один не делает погоду.
И мало одного осла,
Чтоб жизнь ослиною была.
А впрочем, много рук иль мало,
Всегда их золото марало,
И грязь отмыть — свидетель бог —
Британский наш Мидас не смог,
Хоть руки тер он что есть мочи,
Пока сенат и дни и ночи
Шумел, грозя прищучить сброд,
Который грабит весь народ.

Вот так Мидас и постарался,
Он замести следы пытался,
И уносила без следа
Все, что награбил он, вода.
Все уплывало без оглядки:
Проценты, пенсии, взятки,
Лишь грязь вода не унесла,
Да уши выдают осла.
Все то, чем он владел, готовы
Поймать другие рыболовы,
А наш Мидас, как столб, стоит,
Людьми осмеян и забыт.

ПЕРСИ БИШИ ШЕЛЛИ

1792—1822

ОБЛАКО

Я влагой свежей морских побережий
Кроплю цветы весной,
Даю прохладу полям и стаду
В полдневный зной.
Крыла раскрою, прольюсь росой,
И вот ростки взошли,
Поникшие сонно на жаркое лоно
Кружащейся в пляске Земли.
Я градом хлестну, как цепом по гумну,
И лист побелеет и колос.
Я теплым дождем рассыплюсь кругом,
И смех мой — грома голос.
Одену в снега на горах луга,
Застонут кедры во мгле,
И в объятьях метели, как на белой постели,
Я сплю на дикой скале.
А на башнях моих, на зубцах крепостных
Мой кормчий, молния, ждет.
В подвале сыром воеет скованный гром
И рвется в синий свод.
Над сушей, над морем, по звездам и зорям
Мой кормчий правит наш бег,
Внемля в высях бездонных зовам дивов влюбленных
Насельников моря и рек.
Под водой, в небесах, на полях, в лесах,
Ночью звездной и солнечным днем,

В недрах гор, в глуби вод, мой видя полет,
Дух, любимый им, грезит о нем
И следит, как бегу я, грозя и ликуя,
Расточаясь шумным дождем.

Из-за дальних гор, кинув огненный взор,
В красных перьях кровавый восход
Прыгнул, вытеснив тьму, на мою корму,
Солнце поднял из дальних вод.
Так могучий орел кинет хмурый дол
И взлетит, золотясь, как в огне,
На утес белоглавый, сотрясаемый лавой,
Кипящей в земной глубине.
Если ж воды спят, если тихий закат
Льет на мир любовь и покой,
Если, рдян и блестящ, алый вечера плащ
Упал на берег морской,
Я в воздушном гнезде дремлю в высоте,
Как голубь, укрытый листвою.

Дева с огненным ликом, в молчанье великом
Надо мной восходит луна.
Льет лучей волшебство на шелк моего
Разметенного ветром руна.
Пусть незрим ее шаг, синий гонит он мрак,
Разрывает мой тонкий шатер,
И тотчас же в разрыв звезды, дух затаив,
Любопытный кидают взор.

И гляжу я, смеясь, как теснятся, роясь,
Миллионы огненных пчелок.
Раздвигаю мой кров, что сплетен из паров,
Мой, ветрами развеянный, полог,
И тогда мне видна рек, озер глубина,
Вся в звездах, как неба осколок.

Лик луны я фатой обовью золотой,
Алой ризой — солнечный трон.
Звезды меркнут, отпрянув, гаснут жерла вулканов,
Если бурей стяг мой взметен.
Солнце скрою, над бездной морскою
Перекину гигантский пролет
И концами на горы, не ища в них опоры,
Лягу, чудом воздвигнутый свод.
Под сияюще-яркой триумфальною аркой
Пролечу, словно шквал грозовой,
Приковав неземные силы зыбкой стихии
К колеснице своей боевой.
Арка блещет, горит и трепещет,
И ликует мир подо мной.

Я вздымаюсь из пор океана и гор,
Жизнь дают мне земля и вода,
Постоянства не знаю, вечно облик меняю,
Зато не умру никогда.
Ибо в час после бури, если солнце — в лазури,
Если чист ее синий простор,
Если в небе согретом, создан ветром и светом,
Возникает воздушный собор,
Я смеюсь, уходя из царства дождя,
Я, как тень из могилы, встаю,
Как младенец из чрева, в
мир являюсь без гнева
И сметаю гробницу мою.

ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН

1788—1824

* * *

Когда б я мог в морях пустынных *
Блуждать, опасностью шутя,
Жить на горах, в лесах, в долинах,
Как беззаботное дитя,
Душой, рожденной для Свободы,
Сменить наперекор всему
На первобытный рай природы
Надменной Англии тюрьму!

Дай мне, Судьба, в густых дубравах
Забыть рабов, забыть вельмож,
Лакеев и льстецов лукавых,
Цивилизованную ложь —
Дай мне над грозным океаном
Бродить среди угрюмых скал,
Где, не знаком еще с обманом,
Любил я, верил и мечтал.

Я мало жил, но сердцу ясно,
Что мир мне чужд, как миру я.
Ищу, гляжу во тьму — напрасно:
Он скрыт, порог небытия.
Я спал и видел жизнь иную,
Мне снилось: вот он, Счастья ключ!
Зачем открыл мне ложь земную
Твой, Правда, ненавистный луч!

Любил я — где мои богини?
Друзья — друзей пропал и след.
Тоскует сердце, как в пустыне,
Где путнику надежды нет.
Порою боль души глухую
Смирит вино на краткий срок,
И смех мой весел, я пирую,
Но сердцем — сердцем одинок.

Как скучно слушать за стаканом
Того, кто нам ни друг, ни враг,
Кто приведен богатством, саном
В толпу безумцев и гуляк.
О где же, где надежный, верный
Кружок друзей найти б я мог?
На что мне праздник лицемерный,
Веселья ложного предлог!

А ты, о Женщина, не ты ли
Источник Жизни, Счастья, Сил!
Но я — все чувства так остыли! —
Твою улыбку разлюбил.
Без сожалений свет мишурный
Сменил бы я на мир другой,
Чтоб на груди стихии бурной
Желанный обрести покой.

Туда, к великому безлюдью!
Я к людям злобы не таю,
Но дух мой дышит полной грудью
Лишь в диком, сумрачном краю.
О, если б из юдоли тесной,
Как голубь в теплый мир гнезда,
Уйти, взлететь в простор небесный,
Забыв земное навсегда!

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПОД СТАРЫМ ВЯЗОМ НА КЛАДБИЩЕ ХАРРОУ

Родная сень! К земле клоня листы,
Под вешним ветром тихо ропщешь ты,
А я — один — сижу в тени твоей,
Где встарь шумел веселый круг друзей, —
Тех, кто, быть может, в дальней стороне
О прошлых днях грустят, подобно мне.
Сюда взойдя извилистой тропой,
Как сладостно люблюсь я тобой,
Мой старый вяз, чей шелест влек меня
Мечтать на склоне меркнувшего дня!
Здесь надо мною тот же темный свод,
Здесь тот же мир, лишь я теперь не тот.
А ветви тихо стонут в вышине,
О днях былых напоминая мне,
И говорят: пока ты здесь, поэт,
Прими последний дружеский привет!

Я знаю, в час, назначенный судьбой,
Остынет грудь, страстей умрет прибой.
И мнится мне: отрадней смерти ждать —
Ах, если смерть отрадней может стать! —
Коль сердцу там могила суждена,
Где лучшие знавал ты времена,
Где молод был, где счастлив был не р а з , —
Там будет легче встретить смертный час.
Пусть же здесь, где праздновал весну,
В краю надежд утраченных, засну,
Простерт под зыбким пологом листвы,
Благословленный шелестом травы,
Укрытый мхом, знакомым с детских лет,
Покрыт землей, что сберегла мой след,
Овеян снами юности моей,

Оплаканный друзьями юных дней,
Их тесным кругом в памяти храним
И позабытый миром остальным.

ЗАСТОЛЬНАЯ

Наполняйте стаканы! Не правда ль, друзья,
Веселей никогда не кипела струя!
Пьем до дна — кто не пьет? — если сердце полно,
Без отравы веселье дарит лишь вино.

Все я в мире изведал, что радует нас,
Я купался в лучах темно-пламенных глаз,
Я любил — кто не любит? — но, даже любя,
Не назвал я ни разу счастливым себя.

В годы юности, в бурном цветенье весны,
Верил я, что сердца неизменно верны,
Верил дружбе — кого ж не пленяла она! —
Но бывает ли дружба вернее вина?

За любовью приходит разлуке черед,
Солнце дружбы зашло, но твое не зайдет,
Ты стареешь — не всем ли стареть суждено? —
Но лишь ты, чем старше, тем лучше, вино.

Если счастье любовь уготовила нам,
Мы другому жрецу не откроем свой храм.
Мы ревнуем — не так ли? — и друг нам не друг.
Лишь застольный, чем больше, тем радостней, круг.

Ибо юность уходит, подобно весне,
И прибежище только в пурпурном вине,
Только в нем — и недаром! — увидел мудрец
Вечной истины кладезь для смертных сердец.

Упущеньем Пандоры, на тысячи лет
Стал наш мир достояньем печалей и бед.
Нет надежды — но что в ней! — целуйте стакан,
И нужна ли надежда? Тот счастлив, кто пьян!

Пьем за пламенный сок! Если лето прошло,
Нашу кровь молодит винограда тепло,
Мы умрем — кто бессмертен? — но в мире ином
Да согреет нас Геба кипящим вином!

* * *

Я был подвергнут испытанью *
Всей силой страсти, но, любя,
Не сдался, не обрек страданью,
К паденью не увлек тебя.

Так вспоминай как друга чаще
Того, кто, жар твой пробудив,
Пред слабой, робкой и молящей
Смирил свой гибельный порыв.

Я отдал все, что сердцу мило,
Но ты страдать не будешь впредь.
Стыжусь, что мне так трудно было
Себя в тот миг преодолеть.

Не верь же сплетням, вспомни это
И вспомни всю любовь мою,
Услышав злослышье света,
Хулы шипящую змею.

С другими — пусть я был порочным,
Они не ты, и в этом суть.
Здесь, в одиночестве полночном,
Шепчу: благословенна будь!

Когда бы ранее светила
Нас привели к одной судьбе,
Ты не преступно бы любила,
Я чистым бы пришел к тебе.

Живи ж от света в отрешенье,
Соблазны пагубные прочь!
Да не вернется искушенье,
Что ты сумела превозмочь!

Тебя опять в кругу салонном,
Погибший сам, губящий всех,
Я мог бы сердцем развращенным
Избрать в надежде на успех.

Для тех, кто чужд, как я, отрадам, —
Нам, диким, что нам светский вздор!
Но ты беги от зал, где рядом
Святыня чувства — и позор!

Ты юность, прелесть, ты любила
Так чисто, ярко, так светло!
Но что в тиши нам трудно было,
То в свете нас убить могло.

Те целомудренные слезы
Прости! Прости мне страсти бред!
Но не страшись — его угрозы
В душе смятенной больше нет.

На годы! О, как тяжело мне
Уйти, любви наперекор!
Но мы решили вместе — помни:
Я принял этот приговор!

Люби я меньше — меньше муки
Разрыв наш причинил бы мне,
Но да не вспомню там, в разлуке:
Моя! — но по моей вине!

ПРОЩАНИЕ ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬДА

— Прости, прости! Все крепнет шквал,
Все выше вал встает,
И берег Англии пропал
Среди кипящих вод.
Плывем на Запад, солнцу вслед,
Покинув отчий край.
Прощай до завтра, солнца свет,
Британия, прощай!

Промчится ночь, оно взойдет
Сиять другому дню,
Увижу море, небосвод,
Но не страну мою.
Погас очаг мой, пуст мой дом,
И двор травой зарос.
Мертво и глухо все кругом,
Лишь воет старый пес.

Мой паж, мой мальчик, что с тобой?
Я слышал твой упрек.
Иль так напуган ты грозой,
Иль на ветру продрог?
Мой бриг надежный крепко шит,
Ненужных слез не лей.
Быстрейший сокол не летит
Смелей и веселей.

— Пусть воет шквал, бурлит вода,
Грохочет в небе гром —
Сэр Чайльд, все это не беда,
Я плачу о другом.
Отца и мать на долгий срок
Вчера покинул я,

И на земле лишь вы да бог
Теперь мои друзья.

Отец молитву произнес
И отпустил меня,
Но знаю, мать без горьких слез
Не проведет и дня.
— Мой паж, дурные мысли прочь,
Разлуки минет срок.
Я сам бы плакал в эту ночь,
Когда б я плакать мог.

Мой латник верный, что с тобой?
Ты мертвеца бледней.
Предвидишь ты с французом бой,
Продрог ли до костей?
— Сэр Чайльд, привык я слышать гром
И не бледнеть в бою,
Но я покинул милый дом,
Любимую семью.

Где замок ваш у синих вод,
Там и моя страна.
Там сын отца напрасно ждет
И слезы льет жена.
— Ты прав, мой верный друг, ты прав.
Понятна скорбь твоя.
Но у меня беспечный нрав,
Смеюсь над горем я.

Я знаю, слезы женщин — вздор,
В них постоянства нет,
Другой придет, пленит их взор,
И слез пропал и след.
Мне ничего не жаль в былом,
Не страшен бурный путь,

Но жаль, что, бросив отчий дом,
Мне не о ком вздохнуть.

Вверяюсь ветру и волне,
Я в мире одинок.
Кто может вспомнить обо мне?
Кого б я вспомнить мог?
Мой пес поплачет день-другой,
Разбудит воем тьму
И станет первому слугой,
Кто бросит кость ему.

Наперекор грозе и мгле
В дорогу, рулевой!
Веди корабль к любой земле,
Но только не к родной!
Привет, привет, морской простор,
И вам — в конце пути —
Привет, леса, пустыни гор!
Британия, прости!

ЖЕНЩИНЕ, КОТОРАЯ СПРОСИЛА, ПОЧЕМУ Я ВЕСНОЙ УЕЗЖАЮ ИЗ АНГЛИИ

Как грешник, изгнанный из рая,
На свой грядущий темный путь
Глядел, от страха замирая,
И жаждал прошлое вернуть,

Потом, бродя по многим странам,
Таить учился боль и страх,
Стремясь о прошлом, о желанном
Забывать в заботах и делах, —

Так я, отверженный судьбою,
Бегу от прелести твоей,

Чтоб не грустить перед тобою,
Не звать невозвратимых дней,

Чтобы, из края в край блуждая,
В груди своей убить змею.
Могу ль томиться возле рая
И не стремиться быть в раю!

К ТИРЗЕ *

1

Мертва! — Любимой, молодой
Угасла в цвете лет,
Чаруя нежной красотой,
Которой равных нет.
Где б ни был прах твой — пусть он скрыт,
Или толпа над ним шумит,
Рабапустых сует, —
Я не хочу в тоске бессильной
Глядеть на холмик твой могильный.

2

То место, где укрылась ты —
Не знаю, где оно.
Сорняк на нем или цветы —
Теперь не все ль равно!
Но знаю: все, что я любил,
Чем жил, дышал и счастлив был,
Все в тлен обращено.
И знаю без похвал надгробных:
Мертва! — И нет тебе подобных.

3

Да, я любил, люблю тебя,
Ты для меня — одна.

Ты умерла, меня любя,
И в смерти мне верна.
Где смерть прошла, навеки там
Назло наветам, лжи, годам
Любовь освящена.
И я, каким ни стал бы дальше,
Для мертвой чужд измен и фальши.

4

Я в праздник жизни был с тобой,
Теперь один я, верь.
Закаты, звезды, волн прибой
Не для тебя теперь.
Но так завиден мне твой сон,
Что, подавив сердечный стон,
Я не считал потерь:
Стареть — всему закон в подлунной,
Ты ж для меня осталась юной.

5

Зачем красивейшим цветам
Дано так мало дней!
Цветок не сорван — значит, сам
Увянет тем быстрее.
Но если должен лепесток
За лепестком увянуть в срок,
Сорви — и не жалея!
Не жди, покуда Благородство
И Красоту убьет Уродство!

6

Такою старость предстает —
В распаде Красоты.

Чем краше день —
Страшнее гнет
Растущей темноты.
Наш день, ярчайший в беге дней,
Светился красотой твоей
До гробовой черты.
Так ярче, наземь упадая,
Звезда блистает золотая.

7

О слезы, слезы! Где их взять
Забывшему покой?
Не быть с тобою, не стоять
Над ложем в час такой!
Не целовать кудрей кольцо,
Не видеть, не глядеть в лицо,
Не поддержать рукой!
Не выразить любви у гроба,
Которой мы лишились оба!

8

Что ж лучше — пусть в могиле ты, —
Что радостней, ответь,
Чем быть хоть силою мечты
С тобой, с тобой и впредь!
Чем знать, что вопреки судьбе
Все то сберег я, что в тебе
Не может умереть.
Что не вернуть Любовь — и все же
Лишь ты *живая* — мне дороже.

* * *

Еще усилие — и постылый *
Развеян гнет бесплодных мук.

Последний вздох мой тени милой,
И снова в жизнь и в тот же круг.
И даже скуке, в нем цветущей,
Всему, что сам отверг, я рад.
Тому не страшен день грядущий,
Кто в прошлом столько знал утрат.

Мне нужен пир в застолье шумном,
Где человек не одинок.
Хочу быть легким и бездумным,
Чтоб улыбаться всем я мог,
Не плача ни о ком... Когда-то
Я был другим. Теперь не то.
Ты умерла, и нет возврата,
И мир ничто, где ты — ничто!

Но лире скорбь забыть едва ли.
Когда улыбка — маска слез,
Она насмешка для печали,
Как для могилы — свежесть роз.
Вино и песня на мгновенье
Сотрут пережитого след.
С безумством дружно наслажденье,
Но сердце... Сердцу друга нет.

Нам звезды кроткими лучами
Отрадный мир вливают в грудь.
Я сам бессонными ночами
Любил глядеть на Млечный путь.
На корабле в Эгейском море

Я думал: эта же луна
И Тирзу радует! Но вскоре
Светила ей на гроб она.

В ознобе, мучась лихорадкой,
Одной я мыслью был согрет:
Что Тирза спит, как прежде, сладко
И что моих не видит бед.
Как слишком позднюю свободу —
Раб стар, к чему менять судьбу! —
Я укорять готов природу
За то, что жив, а ты — в гробу.

Той жизни, что казалась раем,
Ты, Тирза, мне дала залог.
С тех пор он стал неузнаваем,
Как от печали он поблек.
И ты мне сердце подарила:
Увы! оно мертво, как ты!
Мое ж угасло и остыло,
Но сберегло твои черты.

Ты, грустно радующий взоры,
Залог прощальный лучших дней!
Храни любовь — иль грудь, к которой
Ты прижимаешься, разбей!
Что боль и смерть и безнадежность
Для чувств, не сдавшихся годам!
За ту святую к мертвой нежность
Я ста живых любовь отдам.

ЭВТАНАЗИЯ *

Пусть рано, поздно — то мгновенье
Придет, — и вступит смерть в мой дом.
Тогда овей меня, Забвенье,
Всепримиряющим крылом!

Наследства ждущей алчной своре
Закрой к усопшему пути.
Ни плакальщиц в притворном горе,
Ни близких сердцу не впусти.

Без шума из земного круга,
Без лишних слов уйду во тьму,
Не беспокоя даже друга,
Не портя пира никому.

А ты, Любовь, без жалоб тоже,
Ту силу, что дана любви,
И мне, как дар на смертном ложе,
И ей — кто будет жить — яви.

Дай видеть мне, моя Психея,
Твою улыбку до конца,
И стихнет боль моя, слабея
При виде милого лица.

Но ты, как жизнь, уйти готова,
А слезы из прекрасных глаз
Обманут в смутный миг живого,
Но ранят сердце в смертный час.

Так пусть угасну одинокий
Без жалоб, без речей, без слез.
Ведь многих в Вечность миг жестокий
На мягких крыльях перенес.

Уходит все, а Время нудит:
«Пора, умри!» — и замкнут круг,
А там — а там тебя не будет,
Ты завершил дорогу мук.

Он близок, день, зовущий к тризне, —
Сочти же блага прошлых дней,
И ты поймешь: кем ни был в жизни,
Не быть, не жить — куда верней!

СТАНСЫ АВГУСТЕ

Когда сгустилась мгла кругом
И ночь мой разум охватила,
Когда неверным огоньком
Едва надежда мне светила;

В тот час, когда, окутан тьмой,
Трепещет дух осиротелый,
Когда, молвы страшась людской,
Сдается трус и медлит смелый;

Когда Любовь бросает нас
И мы затравлены враждою, —
Лишь ты была в тот страшный час
Моей немеркнувшей звездой.

Благословен твой чистый свет!
Подобно оку серафима,
В годину злую бурь и бед
Он мне сиял неугасимо.

При виде тучи грозовой
Еще светлее ты глядела,
И, встретив кроткий пламень твой,
Бежала ночь и тьма редела.

Пусть вечно реет надо мной
Твой дух в моем пути суровом.
Что мне весь мир с его враждой
Перед твоим единым словом!

Была той гибкой ивой ты,
Что, не сломившись, буре внемлет
И, словно друг, клоня листья,
Надгробный памятник объемлет.

Я видел небо все в огне,
Я слышал гром над головою,
Но ты и в бурный час ко мне
Склонялась плачущей листвою.

О, ни тебе, ни всем твоим
Да не узнать моих мучений!
Да будет солнцем золотым
Твой день согрет, мой добрый гений!

Когда я всеми брошен был,
Лишь ты мне верность сохранила.
Твой кроткий дух не отступил,
Твоя любовь не изменила.

На перепутьях бытия
Ты мне прибежище донныне,
И верь, с тобою даже я
Не одинок в людской пустыне.

СТАНСЫ АВГУСТЕ

Хоть судьба мне во всем изменила
И моя закатилась звезда,
Ты меня никогда не винила,
Не судила меня никогда.

Ты мой дух разгадала тревожный,
Разделила мой жребий одна.
Я мечтал о любви невозможной —
И в тебе мне явилась она.

Если я улыбнусь и неожиданно
Отвечают улыбкой цветы,
Я могу не бояться обмана,
Ибо так улыбаешься ты.
Если ссорится ветер с волнами,
Как со мною друзья я родня,
Только тем, что оно — между нами,
Это море тревожит меня.

Пусть Надежда, корабль мой, разбита
И обломки уходят на дно,
Сердцу в бурях лишь гордость защита,
Но и в пытках не сдастся оно.
Ибо смерть предпочту я презрению,
Никакой не страшусь клеветы.
И меня не принудят к смирению,
Если будешь союзницей ты.

Люди лгут — никогда не лгала ты,
Не по-женски верна мне была,
Ты любила, не требуя платы,
И любовь за любовь отдала.
Ты, не дрогнув, на ложь возражала,
Не для сплетен следила за мной,
Расставаясь со мной, не бежала
И не прятала нож за спиной.

Этот мир не кляню я враждебный,
Где преследуют все одного:
Я не пел ему песни хвалебной,
Но уй т и не спешил от него.

И ошибку я страшной ценою
Оплатил в эти смутные дни,
Но зато ты навеки со мною,
И тебя не отнимут они.

Буря прошлое стерла, и что же,
Чем утешу себя самого?
То, что было всего мне дороже,
Оказалось достойней всего.
И в песках еще ключ серебрится,
И звезда еще в небе горит,
А в пустыне поет еще птица,
И душе о тебе говорит.

ГИБЕЛЬ СЕННАХЕРИБА

Ассириянин шел, точно волк на овец,
И блистали на воинах медь и багрец,
И, как тысячи звезд в галилейской ночи,
Золотые сверкали щиты и мечи.

Точно лиственный лес о весенней поре,
Поднимались их стяги к вечерней заре,
Точно срубленный лес на осеннем ветру,
Бездыханны, лежали их толпы к утру.

Ангел смерти прошел, и в лицо им дохнул,
И крылом, поднимающим бурю, взмахнул —
И замолкли уста их, застыли сердца,
И не будет их сну гробовому конца.

Конь упал, и не ходит могучая грудь,
И не прянуть ему, и ноздрей не раздуть,
И предсмертная пена из губ скакуна,
Словно пенистый горный поток, холодна.

Мертвый всадник недвижно глядит в небеса,
Ржа покрыла кольчугу, и брови — роса.
И шатер обезлюдел, и стяг позабыт,
И недвижно копьё, и труба не трубит.

И кумиры Ваала повержены в прах,
Ибо вдовы кричат в ассирийских домах,
И без боя, как тают под солнцем снега,
В блеске божьем растаяла сила врага.

ПРОМЕТЕЙ

1

Титан! С надмирной высоты
На тех, чья горестна дорога, —
На муки смертных тварей ты
Не мог смотреть с презреньем бога.
И в воздаянье добрых дел
Страдать безмолвно — твой удел.
В горах утес, орел, оковы!
Но тщетно боги так суровы —
Ты не слабел от страшных мук,
И стон, срывающийся вдруг,
Не дал им повода для смеха:
Ты, озирая небосвод,
Молчал. Ты мыслил: боль вздохнет,
Когда лишится голос эха.

2

Титан, что знал ты? — День за днем
Борьбу страдания и воли,
Свирепость не смертельной боли,
Небес бездушных окоем,
Ко всем глухой судьбы десницу

И Ненависть — земли царицу:
Все то, что правит средь живых
И с наслаждением губит их,
Сперва замучив. Был ты Роком
Томим в бессмертии жестоком
И нес достойно свой удел.
Напрасно гневный Зевс хотел
Из глаз твоих исторгнуть слезы:
Ты в небо слал ему угрозы,
А знал, что станет мягче он,
Открой ты, что не вечен трон
Царя богов. И приговор
Гремел среди пустынных гор
В твоём пророческом молчанье.
И понял — и познал он страх,
Но злую дрожь в его руках
Лишь молний выдало дрожанье.

3

Был твой божественный порыв
Преступно добрым — плод желанья
Людские уменьшить страданья,
Наш дух и волю укрепив.
И, свергнут с горней высоты,
Сумел так мужественно ты,
Так гордо пронести свой жребий,
Противоборствуя судьбе, —
Ни на Земле, ни даже в Небе
Никем не сломленный в борьбе, —
Что Смертным ты пример явил
И символ их судеб и сил.
Как ты, в тоске, в мечтах упорных
И Человек отчасти бог.
Он мутно мчащийся поток,
Рожденный чистым в недрах горных

Он также свой предвидит путь,
Пусть не весь, пусть лишь суть:
Мрак отчужденья, непокорство,
Беде и злу противоборство,
Когда, силен одним собой,
Всем черным силам даст он бой.
Бесстрашье чувства, сила воли
И в бездне мук сильнее всего.
Он счастлив этим в горькой доле.
Чем бунт его — не торжество?
Чем не Победа — смерть его?

ПАРИЗИНА *

Настоящая поэма посвящена событиям, о которых упоминает Гиббон в своей книге «Давние годы Брунsvикского дома». Я знаю, что в наше время тонкая разборчивость читателя может отвергнуть подобный сюжет как непригодный для поэзии. Однако греческие драматурги и некоторые из наших староанглийских писателей были иного мнения. А совсем недавно, на континенте, за ними последовали Альфиери и Шиллер. Следующий отрывок рассказывает о фактах, на которых основана вся история. Имя Никколо заменено именем Азо, метрически более удобным.

«В правление Никколо III маркиза д'Эсте (1425 г. н. э.) Феррара была потрясена семейной трагедией. На основании доноса служанки и своих собственных наблюдений маркиз убедился в наличии преступной связи между его женой Паризиной и его незаконным сыном Уго, красивым и храбрым юношей. Они были обезглавлены во дворе замка по приговору отца и мужа, который предал огласке свой позор и присутствовал при казни.

Если они виновны, он был несчастен. Если они безвинны, он был несчастен вдвойне.

Нет такого положения, которое могло бы в моих глазах оправдать смертный приговор сыну, вынесенный отцом».

Гиббон. Сочинения разного рода

1

Вот час, когда в тени ветвей
Рокочут трели соловья.
Вот час, когда звучит нежней
Влюбленный шепот: «Твой! Твоя!»
И в шуме ветра к сердцу льнет
Мелодия журчащих вод,
И пала на цветы роса,
И звезды всходят в небеса,
И глубже моря синева,
И тонет в сизой мгле листва,
И дня утраченного след,
Как светлый мрак, как темный свет,
Струится в бледной вышине,
И тени тают при луне.

2

Не с тем, чтобы ночью внимать ручью,
Паризина покинула спальню свою.
Не с тем, чтоб смотреть, как восходит
луна,
По темному саду бродит она.
В аллее, где Эсте воздвигли грот,
Цветущих роз она не рвет.
Не соловей — в эту ночь ей нужней
Тот голос, который еще нежней.
Вот в зарослях чьи-то шаги слышны —
Дрожит ее сердце и щеки бледны.
Вот оклик — он? Вот шепчут вновь!
О радость! Как бурно шумит ее кровь!
Еще мгновенье — и милостив бог:
Они вдвоем, и любимый — у ног.

3

И что им люди, что времени бег!
Им ночь — как час, а час — как век.
Ни тварей живых, ни земли, ни небес.
Они вдвоем, и мир исчез.
Весь мир — и глубь и высота —
Все, кроме них, для них мертво.
Он ею дышит, им — она.
Одни — и больше никого!
И так их каждый вздох глубок,
Такая сила счастья в нем,
Что длись он дольше, он бы сжег
Сердца их сладостным огнем.
Вину, опасность, грех, позор
Их сон, безумный сон их стер.
Но разве в буре страстных нег
О страхе помнит человек?
О том, что мчится счастья ночь,
Что сон, как ночь, уходит прочь,
И раньше нас покинет он,
Чем мы поймем, что это сон.

4

И, медля, грустные, глядят
Они на сад, на этот грот,
Как будто больше в ночь и в сад
Их зов любви не приведет.
И поцелуям счета нет,
И губы в губы, взор во взор.
В ее лице — небесный свет,
Но страшен ей небес укор.
Увы, и звезды и луна
Видали, что она грешна.
И вновь объятья — грудь на грудь —

Стесненных рук не разомкнуть.
Но мчится ночь — любовь иль страх,
Что перевесит на весах?
Тот леденящий страх, та дрожь,
Что выдает вину и ложь?

5

В постели одинокой Уго
Тоскует о чужой жене.
А Паризина близ супруга
Томится в беспокойном сне.
От милых, но запретных грез
Ее румянец ярче роз:
И мужа ласковой рукою
Обвив, — но с мыслью не о нем —
Вдруг шепчет с нежностью, с тоскою
То имя, что таила днем.
И, пылкой лаской пробужден,
Обманут — пусть! — но счастлив он.
Он счастлив верой, что жена
Ему и спящая верна,
Что может он и в этот раз
Благословить восторгов час.

6

И к сердцу он ее привлек,
Он шепот слышит сонных губ.
Но боже! — зов небесных труб
Так Азо ужаснуть не мог.
И разве будет гром страшней
В тот страшный день в исходе дней,
Когда архангела труба
Разбудит спящие гроба?
И разве Азо мир и дом

Не уничтожил этот гром?
Чье ж имя шепчет вновь она?
Его позор, ее вина —
Чье это имя? — Горе, горе!
Оно обрушилось как шквал,
Который треплет судна в море
И гложет грудь гранитных скал,
И топит все в пучине гневной, —
Так рухнул мир его душевный.
Чье имя? — Уго! — Мерзкий тать!
О низость, так отца предать!
Он, он — позор его седин,
Сын Уго, да, любимый сын,
Им в буйстве юности рожденный
От Бьянки — той, что звал мадонной,
Но бросил, теща пылкий нрав,
И стыд и честь ее поправ.

7

Он дернул из ножен клинок,
Но вдруг... измыслил казнь другую.
Нет, он своей рукой не мог
Убить красавицу такую!
Не в миг блаженства, не во сне —
Он нанесет удар жене
Не здесь — будить ее не надо!
Но, пробудись его жена,
Как содрогнулась бы она
От ненавидящего взгляда!
В ней замерла б сама любовь.
Он лампу взял — и смотрит вновь.
И, слез не ведавший дотоле,
Он плачет от душевной боли.
Она же спит. Но сочтены
Дела изменницы-жены.

8

Теперь как жадно ищет он
 Свидетельства со всех сторон:
 Чего? — того, что знать боится.
 Безумец ищет очевидца,
 Что подтвердит ее вину.
 Он опросил бы всю страну.
 Но из ее подруг любая,
 Свое потворство отрицая,
 Во всем винит ее одну,
 И все, что нужно и не нужно,
 Они выбалтывают дружно,
 Хоть им уже не внемлет князь,
 Едва рассудка не лишась.

9

Но не из тех, кто медлит, он!
 Отведено в покоях место,
 И всходит на судейский трон
 Глава несчастный дома Эсте.
 Сидят его вельможи в ряд,
 Телохранители стоят.
 И вот виновная чета!
 Он без меча. В оковах руки.
 В ней поражает красота.
 Как передать всю горечь муки
 Отца и мужа? О господь!
 Любимый сын, родная плоть,
 Причиной стал его позора!
 Вот он стоит и ждет суда,
 Огласки тайны, приговора...
 Он ждет, не опуская взора,
 И страха нет в нем и следа.

Но тверд и Паризины взор.
Слегка бледна, молчит она.
Как изменилось все с тех пор,
Когда, смела, оживлена,
Она входила солнцем в зал,
Где цвет вельможной знати ждал.
Где, хороши как на подбор,
Стремилась дамы перенять
Ее осанку, разговор,
Старались так сидеть, стоять;
Где грустный взгляд ее очей,
Печали бессловесный зов,
Взметнул бы тысячу мечей,
Взъярил бы тысячу бойцов.
Теперь, на суд приведена,
Что им и кто для них она?
Они стоят, нахмутив брови,
На лицах только жажда крови,
Или холодный, злой укор,
Иль равнодушие презренья.
Здесь дамы, рыцари — весь Двор,
И он, виновник преступления,
Ее печаль, ее восторг, —
Он сразу бы клинок исторг
И спас ее от эшафота
Иль отдал жизнь. Но он в цепях.
Он, стоя к ней вплоборота,
Не видит слез в ее глазах —
О, слез не за себя — за друга! —
Ее ресниц не видит Уго,
Не видит этих нежных век
И лба, где голубеют жилки,
Как будто вкрапленные в снег, —
Той красоты, какой вовек

Не знал другой любовник пылкой
Но безнадежна, тяжела,
Печаль ей на лицо легла,
И под нависшею грозой
Глаза туманятся слезой.

11

И он бы слезы лил о ней,
Когда б не этот знатный сброд.
Но тем он тверже, тем сильней,
Чем больше скорбь его гнетет.
При этих людях, при отце
Не дрогнет страх в его лице.
Но ей смотреть в лицо — и вновь
Их счастье видеть, их любовь,
Потом вину, позор конца,
И суд людской, и гнев отца,
Их путь земной, их вечный путь, —
Нет, он не может и взглянуть
В ее глаза, на бледный лик,
Иль сдастся он и в тот же миг,
Свой искупая смертный грех,
Начнет здесь каяться при всех.

12

«Еще вчера, — начал А з о, —
Был счастлив: вот жена, вот сын!
Но ясный мир мой рухнул сразу,
С утра сегодня я один.
Да, я один! Любой из вас,
Как я, в подобный страшный час
Так поступил бы. Мой наследник!
Уже пришел твой исповедник.
Покуда звезды не взошли,

Ступай, Всевышнего моли:
Когда возмездие свершится,
Там сына грешного земли
Да пощадит его десница.
Но здесь, где я дышу, ты впредь
Дышать не можешь. Гнев мой всюду
Тебя найдет, хоть я смотреть
На казнь и смерть твою не буду.
Зато она, змея, она,
Сосуд грехов, моя жена,
И палача узреть должна,
И труп любовника безглавый,
И знать, что не в угоду мне,
А только по ее вине
Попал ты под топор кровавый.
С таким сознанием пусть живет.
Я кончил. Мой предьявлен счет».

13

И князь лицо внезапно прячет,
Но веной, вспухнувшей на лбу,
Кровь выдает души борьбу.
Он наклонился, хоть не плачет,
А лишь прикрыл глаза рукой,
Чтоб с виду сохранить покой.
И руки, скрученные туго,
К отцу протягивает Уго.
И молвит: «Дай хоть краткий срок
Мне для предсмертного ответа».
Но князь молчит, угрюм и строг, —
Ни разрешенья, ни запрета.
«Отец, я смерти не боюсь.
Не раз конь-о-конь мы с тобою
Стремилась, радостные, к бою.
Но вырвала из этих рук

Мой меч толпа твоих же слуг,
Хоть за тебя он пролил крови
Поболее, чем я пролью,
Коль срубят голову мою.
Твои злодейства мои не внове.
Ты дал мне жизнь. При всей родне
Возьми свой дар, не нужный мне.
Я был рожден тобой в позоре.
У бедной матери моей
Ты отнял радость юных дней
И только стыд принес и горе
Ей, обесчещенной. С тех пор
За мной идет ее позор.
Подобно ей, в могилу вскоре
Сойдет твой сын, соперник твой.
Моей кровавой головой,
Ее растоптанной любовью
Я буду пред лицом творца
Свидетельствовать ложь отца,
Который дом свой залил кровью,
Нарушив верность, долг и честь.
Да, зло за зло — вот сына мечь!
Теперь о *ней*: твоя жена
Не мне ль была наречена?
Но ты ее возжаждал тела,
Тобою похоть овладела,
И преступлением твоим —
Моим рождением — ты меня же
Посмел корить: мол, я с ней даже
Происхождением несравним —
Я незаконный, я бесправный,
И я б унизил достославный
Род Эсте, назовись я так!
Но если бы я дольше прожил,
Я славу Эсте бы умножил,
Над всеми ваш вознес бы стяг,

Мои бы рыцарские шпоры
Внушали страх твоим врагам,
И ваши гордые синьоры
Мне только бы дивились там,
Где с криком: «Эсте и победа!»
Я гнал бы злобного соседа.
Так мне ль оправдываться? Нет!
Я не прошу — от многих лет,
Когда я буду горстью тлена,
Мне дать для жизни день иль час.
Я знаю: счастье только раз
Приходит, и оно мгновенно.
Но пусть навек рожденья гнет
Закрывл мне доступ в знатный род,
Ты видишь, как я схож лицом
Стобою, князь, — моим отцом.
И в остальном я твой всецело.
Душа — твоя, не только тело,
Не только рост и сила рук.
Но что же задрожал ты вдруг,
Что шевелится в сердце львином?
Да, ты не только жизнь мне дал,
Но сердца огненный закал
И все, чтоб я твоим был сыном.
Во мне — могучих Эсте кровь.
Ты, обесчестивший любовь,
Теперь наказан нашим сходством.
Пусть обойден я первородством,
Чужой указки не терпя,
И этим я пошел в тебя.
А жизнь — ее ценю не боле,
Чем ты, отец, когда с тобой
Кидались мы в смертельный бой
И рядом бились в бранном поле.
Но прошлое — ничто. Оно
Забудется и в вечность канет,

И прошлым будущее станет.
Зачем не умер я давно!
Ты ввергнул мать мою в бесчестье,
Ты мужем стал моей невесте,
Но ты отец мой. Это рок!
И пусть твой приговор жесток,
Он справедлив. Твой Уго вскоре,
Зачат в грехе, умрет в позоре,
Твоею волей мой уход
Таков, каким был мой приход,
И все ж, хоть мы виновны оба,
Лишь я наказан — я у гроба.
Тебя одобрит суд людской,
Но бог рассудит нас с тобой».

14

И, замолчав, скрестил он руки.
Оковы звякнули, и Двор,
Внимавший молча до тех пор,
Весь дрогнул вдруг при этом звуке,
Как те, кто слышат злой укор.
Но роковая привлекла
Все взоры прелесть Паризины.
Она, кто солнцем их была,
Кто гибель Уго принесла,
Что скажет в час его кончины?
Недвижна, мертвенно бледна,
Безмолвным ужасом полна,
Не отрывая глаз от Уго,
Она стояла возле друга,
И были странно велики
Расширившихся глаз белки,
И меж ресниц недвижимых стали
Ее зрачки синей эмали.
Остекленевший взор, глядит,

Как будто лед в крови разлит,
И каплет, медленно скользя
По бахrome ресниц атласных,
Слеза из глаз недавно ясных.
Нет, это рассказать нельзя!
Но слезы женщины едва ли
Таковыми тяжкими бывали.
Она хотела говорить,
Но издала лишь стон утробный,
Глухой, невнятный звук, способный
Всю скорбь, всю боль души вместить.
И люди замерли на миг.
И страшен был внезапный крик
Средь этой тишины надгробной.
И камнем рухнула она,
Как если б, горем сражена,
Себе же памятником стала,
Который сброшен с пьедестала, —
Не как виновная жена,
В чьем сердце — смерть, чья жизнь во власти
Необоримой грозной страсти,
А как живое существо,
Когда позор сломил его,
Когда рассудок стал мутиться,
Но обморок недолго длится,
Хоть мозг, не выдержавший бед,
Способен лишь на смутный бред.
(Так лук, размокший под грозою,
Стреляет вкось, негодный к бою.)
И в прошлом — белое пятно,
И все, что в будущем, — черно,
А след мелькнул — и вновь исчез,
Как будто молния с небес
Ударила — скользящий свет —
Вой ветра — тьма — и где тот след?
Убита? — Нет! — Но исподволь

Сверлит все глубже в сердце боль.
Чей это голос?.. Честь!.. Позор!..
На казнь!.. Кого? Кому топор?
Земля ль под нею? А над ней —
Что? Небо? — Нет, оно синей!
А это что кругом за люд?
Не бесы ль тут сошлись на суд?
Никто, никто не будет впредь
С улыбкой на нее смотреть,
Как было раньше. В краткий миг
Мир стал бездушен, чужд и дик,
И вещи утерjali связь.
Она, то плача, то смеясь,
В боренье с этим страшным сном,
Глядит: не сон ли все кругом
И все, что с ней? — Но цепи сна
Расторгнет, сбросит ли она?

15

Колокола гудят —
Как будто со слезами
О том твердит набат,
Что все уж знают сами,
И все скорбят.
Заупокойный глас
Поет о тех, кто мертв и спит уже в могиле,
О тех, кто жив еще, но для кого пробили
Часы в последний раз.
И вот в оковах Уго приведен,
По нем надгробный плач и погребальный звон.
У плахи он
Склонил колени пред монахом.
Толпа полна и жалостью и страхом.
Под ним земля нага и холодна.
Он стражей окружен, но плаха всем видна.

И виден топор, он наточен, остер,
И, чтоб лучше ударить, палач уже руку простер.
Он пробует, не затупилась ли сталь,
Отсечь не сразу — было б жаль,
А народ, безмолвствуя, ждет и глядит
На сына, что будет отцом убит.

16

Час пробил! Утро так светло
Под летним солнцем расцвело,
Но день мучительный ни в чем
Не схож был с радостным лучом.
И вот закат, зловеще ал,
На Уго и на плаху пал.
И он покаялся в грехах,
И принял исповедь монах,
И грешник от отца святого
Ждет всепрощающего слова
И отпущения грехов.
Он в путь, в последний путь готов.
Меж тем вечерняя заря,
В кудрях каштановых горя,
Блестит нежней и розовее
На полуобнаженной шее.
Но света розового блик
Всего сильнее в этот миг
На топоре, на белой стали.
О час прощанья, час печали!
Скорбят и черствые сердца.
Закон на стороне отца.
Но с дрожью люди ждут конца.

17

И вот молитвы прочтены,
Грехи на четках сочтены,

Любовник дерзкий, низкий сын —
Пред ним палач, и он — один!
Осталось несколько минут.
Теперь, отрезаны, падут
Кудрей каштановых извивы.
Затем и шарф его красивый,
Дар Паризины, и кафтан,
И плащ, который шелком тка н , —
Все, что на нем при жизни было,
Что не должна принять могила,
Сорвал палач одним рывком
И хочет повязать платком
Ему глаза. Но лишь презреньем
Пред этим новым униженьем
Ответил У г о . — Как! бойцу
Не встретить смерть лицом к лицу!
И поднял голову он смело.
«Я вами скован! Отдаю
И жизнь мою и честь мою.
Так знай свое палачье дело!
Руби! А мне не засти взор!
Руби!» И голову на плаху
Склонил. Обрушенный с размаху,
Блеснул и зазвенел топор,
И тело тяжело осело,
И крови хлынула струя
Из обезглавленного тела,
Сухой песок и пыль поя.
Скользнула дрожь вдоль губ и век,
И взор остекленел навек.

Он умер так, как умирать
Должны виновные, — смиренный,
Молясь в надежде сокровенной
И веря в божью благодать.
Не помнил, в мыслях о кончине,

Она кричала, но когда
Все обратили взор туда,
Ее уж не было в окне
И крик растаял в вышине,
Но боль была в нем так тяжка,
Такая горечь и тоска,
Что каждый слышавший просил,
Молясь владыке вышних сил,
Чтоб этот крик последним был.

19

Так рыцарь умер. С этих пор
Ни в залы замка, ни во двор
Не выходила Паризина.
Исчезла, словно не была,
Боязнь и слухи пресекла.
Сам Азо ни жену, ни сына
Не вспоминал. Был запрещен
И звук отверженных имен,
И заминали в многолюдстве
Слова о казнях иль распутстве.
Их без обряда погребли
(Или его по крайней мере),
Без гроба, на клочке земли.
А где она? Служить ли вере
Ушла монахиней простой,
Чтобы в обители святой,
Незрима, как во гробе тело,
Остаток дней прожить в трудах,
В молитвах, бденьях и постах;
Иль то, что чувством жить посмела,
Любила, не страшась преград,
Ей отомстил кинжал иль яд;
Или промучилась недолго,
И тот удар ее убил,

Который Уго погубил,
И ей, отступнице от долга,
Палач свирепой рукой
Навеки даровал покой —
Кто может знать? — Была, жила,
На свет в страданиях пришла
И от страданий умерла.

20

А что же князь? — Другая с ним.
И славных сыновей растит.
Но кто отважен и любим,
Как тот, который им убит?
Красивы? — Что ж, он очень рад.
Сильны — но хмур отцовский взгляд,
Глаза скользнут — и не глядят.
Былой улыбки ни следа.
Не прослезится никогда.
Морщины горя тяжело
Легли на гордое чело,
И радость не придет стереть
Их преждевременную сеть —
Свидетельство душевных мук.
Он знает: жизнь замкнула круг!
Бесчестье, честь ли — все равно.
Печаль и радость так давно
Приюта не находят в нем.
Нет ночью сна, отрады — днем.
А в сердце хаос, мутный бред.
Сдалось ли? — Нет! — Забыло? — Нет!
Он чужд всему, но лишь на вид:
И мысль жива, и страсть горит.
Лишь сверху лед, но глубока
Под ним течет, кипит река.
Пусть на груди лежит печать,

Но сердцу не дано молчать,
Когда вложило Естество
Так много чувств и сил в него.
И слезы гнать — напрасный труд:
Они к источнику уйдут,
И там пребудет их поток
И чист, и светел, и глубок.
И чем он глубже затаен,
Тем чище, тем правдивей он.
Нет-нет, а князя вдруг пронзит
Тоска о тех, кто им убит.
И не заполнить пустоту,
И мести понял он тщету.
И нет надежды встретить их
Меж светлых душ в краях других.
И все ж он мнит, что, их казнив,
Он был и прав и справедлив,
Что сами навлекли свой рок...
Но так он стар и одинок!
Больные ветви срежь, и вот
Увядший дуб ты воскресил.
Он ветви новые дает,
Он зелен, свеж и полон сил.
Но если молнии удар
Сожжет листву, обуглит ствол,
Ему не расцвести — он стар
И, черный, безобразно гол.

ДЖОН КИТС

1795—1821

* * *

День отошел и радости унес, *
Влюбленность, нежность, губы, руки, взоры,
Тепло дыханья, аромат волос,
Смех, шепот, игры, ласки, шутки, споры.

Поблекло все — так вянут вмиг цветы.
От глаз ушло и скрылось Совершенство,
Из рук ушло виденье Красоты,
Ушел восторг, безумие, блаженство.

Исчезло все — и мглой мир объят,
И день святой сменила ночь святая,
Разлив любви пьянящий аромат,
Для неги тайной полог тьмы сплетая.

Весь часослов любви прочел я днем
И вновь молюсь — войди же, Сон, в мой дом!

* * *

О если б вечным быть, как ты, Звезда! *
Но не сиять в величье одиноком,
Над бездной ночи бодрствуя всегда,
На Землю глядя равнодушным оком, —

Вершат ли воды свой святой обряд,
Брегам людским даруя очищенье,
Иль надевают зимний свой наряд
Гора и дол в земном круговращенье, —

Нет, неизменным, вечным быть хочу,
Чтобы ловить любимых губ дыханье,
Щекой прижаться к милому плечу,
Прекрасной груди видеть колыханье

И в тишине, забыв покой для нег,
Жить без конца — или уснуть навек.

* * *

Когда страшусь, что смерть прервет мой труд, *
И выроню перо я поневоле,
И в житницы томов не соберут
Зерно, жнецом рассыпанное в поле,

Когда я вижу ночи звездный лик
И от того в отчаянье немею,
Что символов огромных не постиг
И никогда постигнуть не сумею,

И чувствую, что, созданный на час,
Расстанусь и с тобою, незабвенной,
Что власть любви уже не свяжет нас, —
Тогда один на берегу вселенной

Стою, стою и думаю — и вновь
В Ничто уходят Слава и Любовь.

РОБЕРТ БРАУНИНГ

1812—1889

КАК ПРИВЕЗЛИ ДОБРУЮ ВЕСТЬ ИЗ ГЕНТА В АХЕН

Я — в стремя, а Йорис и Дирк уж в седле.
Хлестнули, взвились и помчались во мгле.
«Дай бог!» — крикнул страж у подъемных ворот.
Бог! — гулом ответили стены и овод.
Ворота упали, погасли огни,
И в ночь унеслись мы галопом, одни,

Безмолвны, бок о бок, седло у седла,
Пригнувшись к луке, натянув удила.
К подпруге склоняясь, я ослабил ее,
Уставил во тьму боевое копые,
Испытанный шлем свой надвинул на лоб.
Спокоен был Роланда мощный галоп.

Мы близились к Локерну. Месяц погас.
Петух возвестил нам предутренний час.
Вот Боом — и большая звезда в вышине.
Как сладко покоится Дьюффильд во сне!
Вот Мехельн — три раза на ратуше бьет.
Тут Йорис дал шпоры и крикнул: «Вперед!»

Над Арсхотом брезжил рассвет. У пруда
В белесом тумане чернели стада.
Но вот и заря, и, подобный скале,
Стал виден мой Роланд в рedeющей мгле.
Как делит скала набегающий вал,
Он в мутные клочья туман разрывал.

Мой смелый! Ты скачешь в степной тишине,
Ты ухом прядешь, обращенным ко мне,
На зов мой скосил ты свой умный, живой,
Свой черный зрачок с голубою каймой,
Клокочет кипящую пеной твой рот,
И каплет с боков остывающий пот.

Мы в Хассельте. — «Йорис!» — «Что, Дирк,
отстаешь?

Не шпорь понапрасну, гнедой был хорош.
Ты вспомнишь не раз о лихом скакуне.
Но он изменил — по своей ли вине?
Измучен твой конь, он дрожит и храпит,
И мыло на брюхе и бедрах кипит».

Мы скачем вдвоем. О, как чист небосвод!
Мы в Лоозе — мимо! Мы в Тонгре — вперед!
Мы желтое жнивье копытами бьем,
А солнце смеется и жжет нас огнем.
Вон Далем в горячей полдневной пыли.
«Гони! — услышал я. — То Ахен вдали!»

Так Йорис мне вслед прохрипел, и за мной
Пал камнем на землю его вороной.
Лишь Роланд мой скачет, он Ахен спасет,
Он гибнущим добрую весть принесет,
Хоть кровь выкипает из жарких ноздрей,
Хоть глаз ободки все мутней и красней.

Швырнул я доспехи в клубящийся прах,
Я скинул ботфорты, привстал в стременах,
Трепал его гриву и с ним говорил,
Молил, заклинал, и ласкал, и корил,
Я пел, я смеялся, кричал и свистел,
И весело в Ахен мой Роланд влетел.

Что было потом — вспоминаю с трудом.
Сидел меж друзей я на пире хмельном.
Мой Роланд прижался ко мне головой —
Вином я поил тебя, конь боевой!
И каждый воздал победителю честь,
Из Гента примчавшему добрую весть.

ИЗ АВСТРИЙСКИХ ПОЭТОВ

НИКОЛАУС ЛЕНАУ

1802—1850

ФОРМА

Если форма и готова,
Знай, поэт, стихи пусты
До тех пор, покуда ты
Мыслью не наполнил слово.

Есть слова как облаченье,
Под которым тела нет.
Сердце дрогнет им в ответ,
Но, увы, лишь на мгновенье.

Наподобие трещотки
Стих по рифмам застучит,
И, хоть он мастеровит,
Жалок век его короткий.

ТРИ ИНДЕЙЦА

Буря в небе мчится черной тучей,
Крутит прах, шатает лес дремучий,
Воеет и свистит над Ниагарой,
Тонкой плетью молнии лиловой
Люто хлещет вал белоголовый,
И бурлит он, полон злобы ярый.

Три индейских воина у берега
Молча внемлют реву водобега,

Озирают гребни скал седые.
Первый — воин, много испытавший,
Много в жизни бурь перевидавший,
Рядом с ним — два сына молодые.

На сынов глядит старик с любовью,
С тайной болью видит мощь сыновью,
В гордом сердце та же мгла и буря,
Словно туча, что чернее ночи,
Дико блещут молниями очи.
Говорит он, гневно брови хмурия:

«Белые! Проклятье вам вовеки!
Вам проклятье, голубые реки, —
Вы дорогой стали нищей своре!
Сто проклятий звездам путеводным,
Буйным ветрам и камням подводным,
Что воров не потопили в море!

Их суда — отравленные стрелы —
Вторглись в наши древние пределы,
Обрекли свободных рабской доле,
Все, чем мы владели, им досталось,
Нам лишь боль и ненависть осталась,
Так умрем, умрем по доброй воле!»

И едва то слово прозвучало,
Отвязали лодку от причала,
Отгребли они на середину,
Обнялись, чтоб умереть не розно,
И запели песню смерти грозно,
Весла кинув далеко в пучину.

Гром гремит, и молния змеится,
Лодка смерти по реке стремится,
То-то чайкам-хищницам отрада!

И мужчины гибели навстречу,
С песней, будто в радостную сечу,
Устремились в бездну водопада.

СМОТРИ В ПОТОК

Кто знал, как счастья день бежит,
Кто счастья цену знает,
Взгляни в ручей, где все дрожит
И, зыблясь, исчезает.

Смотри, уйдет одна струя,
Придет струя другая,
И станет глуше скорбь твоя,
Утраты боль живая.

Рыдай над тем, что рок унес,
Но взор впери глубоко
Сквозь пелену горячих слез
В изменчивость потока.

Найдешь забвенье в глуби вод,
И сердцу будет зримо:
Сама душа твоя плывет
С ее печалью мимо.

ПЕЧАЛЬ НЕБЕС

На лике неба хмурой темной тучей
Блуждает мысль, минувшей бури след.
Под резким ветром бьется лист летучий,
Как сумасшедший, ввавший в буйный бред.

Рыдает гром глухими голосами,
Чуть вспыхнув, меркнет бледный свет зарниц,
Порой в очах, наполненных слезами,
Так слабый луч дрожит из-под ресниц.

Над степью тени призрачные встали,
Сырой туман окутал все вокруг,
И небо смолкло в мертвенной печали,
Бессильно солнце выронив из рук.

ОСЕННЕЕ ЧУВСТВО

Осень, тучи, ветра свист.
Одному в дороге трудно!
Смолкли птицы, вянет лист —
Ах, как тихо, как безлюдно!

Словно смерть, идет зима.
Лес мой, где твои напевы?
Где твой шелест, полутьма,
Золотые нивы, где вы?

В поле стал пастись туман,
Бесприютный холод бродит.
В голой роще, вдоль полян
Веет скорбью. Жизнь уходит.

Сердце! Слышишь, как поток
По скалам грохочет грозно?
Был у нас немалый срок
Обсудить дела серьезно.

Сердце! Ты сожгло себя,
Всех терзало понемногу,
Многим верило, любя.
Что ж, пойдём-ка в путь дорогу!

Я тебя на дальний путь
Спрячу вглубь, стяну потуже,
Чтоб ни ветру не дохнуть,
Не достать коварной стуже.

Молча мы в последний раз
Побредем тропой унылой.
Только дождь помянет нас
Да поплачет над могилой.

ТРИ ЦЫГАНА

Грузно плелся мой шарабан
Голой песчаной равниной.
Вдруг увидал я троих цыган
Под придорожной осиной.

Первый скрипку держал пред собой —
Залит вечерним багрянцем,
Так он играл, будто спорил с судьбой,
Тешась огненным танцем.

Рядом сидел другой, с чубуком,
Молча курил на покое,
Радуясь, будто следить за дымком —
Высшее счастье людское.

Третий в свое удовольствие спал
На долгожданном привале.
Струны цимбал его ветер ласкал,
Сердце виденья ласкали.

Каждый носил цветное тряпье,
Словно венец и порфиру.
Каждый гордо делал свое
С вызовом богу и миру.

Трижды я понял, как счастье брать,
Вырваться сердцем на волю,
Как проспать, прокурить, проиграть
Трижды презренную долю.

Долго — уж тьма на равнину легла —
Мне чудились три цыгана:
Волосы, черные как смола,
И лица их цвета шафрана.

К ВЕСНЕ 1838 ГОДА

О весна, ведь ты пророк,
Так открой пути,
На которых мир бы мог
Счастье обрести!

Землю роя, лес губя,
Верный твой приют,
Гости, злые для тебя, —
Рельсы — так и прут.

Скрежет, визг — не подходи!
Скошен старый бор.
Дроворубом впереди
Двигается топор.

Поддаваясь, дуб седой
Стонет и трещит.
Образ девы пресвятой
Здесь ему не щит.¹

Ты нежней, весна, прильни
К ним в последний раз!
Дуб и дева — где они?
Бьет прощальный час.

Поезд пулей полетит,
Ринувшись вперед.

¹ Согласно старинному обычаю, путники вешали на деревьях образки.

Он цветов не посадит,
Набожность убьет.

Но ведет ли этот бег
В милую страну,
Где Свободу человек
Примет, как жену,

И за боль твоих обид,
О, скажи, весна,
Вправду ль радость подарит
Людям та страна?

Или в этот райский сад
Людям не войти,
И лишь прибыль да разврат
Миру по пути?

Иль не шпалы все вперед
Гонит плут-кузнец,
А для мира цепь кует
Из конца в конец?

Как же встретишь ты, весна,
Свист, и гул, и дым?
Отвернешься ли, грустна,
Улыбнешься им?

Нынче так сияешь ты,
Слыша лязг болтов,
Что и в лучшие мечты
Верить я готов.

Так ликуют клест и чиж,
Так стучит желна!
Ты нам, Вольность, отворишь
Двери, как жена!

ХОЛОСТЯК

Не ждут ни дети, ни жена
Меня в мансарде голой,
Не знает нежных слов она
Иль беготни веселой.

Там не залает верный пес,
Товарищ престарелый.
Лишь дым — наперсник давних грез,
Да череп пожелтелый.

Кольцо в кольцо — уходит дым,
А тигель мозга бранный
Стоит пред зеркалом моим,
Как зеркало вселенной.

Я друга мудро усадил
На полку в назиданье.
Я смертью в сердце охладил
Палящее желанье.

Угрюмо созерцая кость
И тусклый облак дыма,
Мне третий друг, незримый гость,
Сказал неумолимо:

— На что жена, на что семья —
Случайный спутник в мире?
Как дым, уйдет душа твоя,
Рассеется в эфире.

И этот череп жил огнем
Высоких откровений,
И чья-то страсть курилась в нем,
Пылал в нем чей-то гений.

Пускал колечки Пан-старик
Из этой трубки хрупкой,
И смерть пришла в тот самый миг,
Как Пан расстался с трубкой.

Но череп — ныне мерзкий прах —
Блистал красой в те годы,
Когда он трубкой был в устах
У божества природы.

Исчез неведомый жилец,
О нем не вспомнят боле,
И мудрый был он иль глупец —
Для нас не все равно ли?

Не все ль, что в воздух выдул П а н , —
Нужда в людской пустыне,
Блаженство, боль душевных ран —
Не все ль забыто ныне?

И дым забыт, и жар забыт
В кружение урагана.
Их образ призрачный хранит
Одна лишь память Пана.

Мне не везло в моей судьбе,
Виной людская злоба.
Так не впущу и пса к себе,
Запрусь один до гроба.

И здесь умру в пустом доме
Бездетным нелюдимом...
Ну что ж! Пока чубук возьму
Да послежу за дымом.

ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ

АДАМ МИЦКЕВИЧ

1798—1855

ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

Пилигрим

Аллах ли твердь воздвиг из ледяных громад
Иль трон из мерзлых туч поставил серафимам?
Иль четверть суши Див нагромоздил над Крымом,
Чтоб звездам путь пресечь с восхода на закат?

Какое зарево! Ужель горит Царьград?
Иль там, где сходит ночь и мгла клубится дымом,
Аллах, чтобы светить мирам неисчислимым,
Украсил небосвод ярчайшей из лампад?

Мирза

Там был я. Там Зима сидит на льдистой круче.
Я лишь дохнул — и льдом покрылась борода.
Там клювы родников буравят наст колючий,
Там нет орлам пути, но я взошел туда.

И пусто было там. Лишь проплывали тучи,
И подо мной был мир, а надо мной — звезда.
То Чатырдаг!

Пилигрим

А-а!

БАХЧИСАРАЙ

Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей.
Трон славы, храм любви — дворы, ступени, входы,
Что подметали лбом паши в былые годы, —
Теперь гнездилище лишь саранчи да змей.

В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей,
Захватывает плющ, карабкаясь на своды,
Творенья рук людских во имя прав природы.
Как Валтасаров перст, он чертит надпись: «Глей!»

Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье,
Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет,
Он тихо слезы льет, оплакивая тленье:

О слава! Власть! Любовь! О торжество побед!
Вам суждены века, а мне — одно мгновенье,
Но длятся дни мои, а вас пропал и след.

АЛУШТА ДНЕМ

С горы упал туман, как сброшенный халат.
Шумит, намаз творя, пшеница золотая.
Кладет поклоны лес, порой с кудрей роняя,
Как с четок дорогих, рубин или гранат.

В цветах земля. Цветы порхают и парят.
То вьются бабочки, как радуга живая,
Алмазным пологом все небо закрывая.
И сушит стрекоза крылатый свой наряд.

Лишь там, где лысый кряж глубоко вдался в море,
Отпрянет и на штурм идет опять волна,
Угрозу для земли тая в своем напоре.

Как тигра хищный глаз, мерцает глубина.
А дальше — гладь и блеск, и в голубом просторе
Играют лебеди близ мирного челна.

АЛУШТА НОЧЬЮ

Дохнуло свежестью. Дневной свершив дозор,
Упал на Чатырдаг светильник мироздания,
Разбился, льет поток пурпурного сиянья
И гаснет. Путник вдаль вперил тревожный взор.

На доли ночь сошла. Черны уступы гор.
Все дремлет. В синей мгле слышной ручья дыханье.
И словно музыка, цветов благоуханье
С душой таинственный заводит разговор.

Я сплю под крыльями безмолвия ночного.
Вдруг метеор блеснул, и, светом пробужден,
Я вижу в зареве и лес и небосклон.

Ночь! Одалиска-ночь! Ты вновь ласкать готова,
Ты, негой усыпив, зовешь для неги снова
И взором огненным желанный гонишь сон.

АЮДАГ

Мне любо, Аюдаг, следить с твоих камней,
Как черный вал идет, клубясь и нарастая,
Обрушится, вскипит и, серебром блистая,
Рассыплет крупный дождь из радужных огней.

Как набежит второй, хлестнет еще сильнее,
И волны от него, как рыб огромных стая,
Захватят мель и вновь откатятся до края,
Оставив гальку, перл или коралл на ней.

Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей
Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь светла.

Не омрачив твой мир, гроза отбушевала,
И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.

СТАНИСЛАВ ВЫСПЯНСКИЙ

1869—1907

КАНИКУЛЫ

Леону Стемповскому

Ну, пан Леон, здорово, друг!
Где был? Уж не в лесу ли?
Видал, как стадо шло на луг,
Как вальдшнепы тянули?

Слышал утиный гам с реки,
Почуял запах ели?
Видал, как сини васильки,
Как маки покраснели?

Видал в полях летящий пух?
Залюбовался нивой?
А к пенью птиц ты не был глух,
Мечтал в тени под ивой?

А слушал хруст и храп в хлеву?
А болтовню сорочью?
Увидел сон свой наяву,
Мечту свою — воочью?

В саду — павлинов, рой ребят
Веснушчатых, белесых?
Слышал, что волны говорят
На мельничных колесах?

Все шепчут волны, все поют
Про радость и кручину.

Концерт лягушки задают,
А ступишь — прыг в пучину!

Не заскучал в краю лесном,
Не рвешься в город больше?
Узнал все то, что мы зовем
Очарованьем Польши?

Следил ли облаков стада
Над голубою далью?
Моложе стал на те года,
Что отняты печалью?

Вернулся к юности своей?
Среди всего родного,
Среди лесов, детей, зверей
Не стал мальчишкой снова?

Обрел ту жажду, те мечты,
Что знал в былые годы?
Ушел из плена будней ты,
Достиг ли ты свободы?

Когда в поля или в леса
Вела тебя дорога,
Ты слышал эльфов голоса
Иль зов лесного бога?

И понял, друг, уразумел,
Когда прочел все это,
Что написал я, как сумел,
Двенадцать строф привета?

ЮЛИАН ТУВИМ

1894—1953

НЕВЕДОМОЕ ДЕРЕВО

*Светлой памяти
Стефана Жеромского*

Дерево, мой друг зеленоглавый,
Где шумишь ты кроною кудрявой,
Где растешь ты, скоро ли на гроб мой
Кто-то спилит ствол твой величавый?

Объявись — ты ль это иль другое?
Отзовись мне звонкою листвою!
Где ты, где — твой нареченный кличет,
Дерево мое ты гробовое!

Бродит он среди густого бора,
Со стволов прямых не сводит взора.
Зашуми мне, дерево, на вечность —
Может, спать с тобою ляжем скоро.

Нам без уговора не годится
В смертный путь, в далекий путь пуститься,
Где велит обоим бесконечность
В пепел, в прах бесплодный превратиться.

Ты в плоте смоленном не сюда ли
Приплывешь из дальней синей дали?
Стыдно будет нам, что мы друг друга,
Вечный мой сосед, не признали.

Уж не ты ль мой дом приосенило,
Всякий день со мною рядом было...

Кто же в ствол твой врезал эти буквы —
Это имя, что кому-то мило?

Долго бы шептался я с тобою,
Не стихами б вызвал, так мольбою
Обещанье, что прорвешь ты землю,
Расцветешь над ямой гробовою.

Чтоб меня к себе ты прирастило,
Вынесло из тьмы своею силой,
Чтобы — корни с плотью — мы срослись бы,
Разветвились оба над могилой.

Может быть, на этот свет желанный
Нас из тьмы поднимет вздох неожиданный —
Вздох земли родимой, для которой
Та могила тяжкой будет раной.

КАРТОФЕЛЬ

Слышишь? Запах костра — тех, языческих, лет?
Сыплет искрами в ночь можжевельник, сгорая.
Мчится по ветру дыма разорванный след.
Сплет, морщась от жара, картошка сырая.

Если веткой сосновою — рыжей, сухой —
В лоб ударишь костер — будто высыпал кучу
Шумных, шустрых жуков, и шипучий, трескучий
Искромет поднимается вровень с сосной.

Нет, не может картофель у нас на столе
Быть таким бесподобным, ни с чем не сравнимым,
Как рогулькой подхваченный, с пригарью,
с дымом,
Испеченный в лесу, в седоватой золе.

Дуть! В руках перебрасывать! Кожица жжет,
Как огонь, — обдираешь, смеяшь и ругаясь.
Сунуть в соль на бумажке и — в дующий рот,
Переталкивать на языке, обжигаясь.

И на лодках — назад, к восходящему дню.
По течению, по ветру, по зорьке вишневой,
В молчаливом раздумье, с решимостью новой,
Приобщаясь к сожалениям, к пеплу, к огню.

ЛЕТО БЕДНЯКОВ

Мутна, тошнотворна, тепла,
Течет вода из закрытого крана.
Но есть и прозрачный холод стекла,
Благоуханье ликера из черных глубин мазаграна.

Когда надушенная пани идет бельэтажем прохладным,
По запаху можно подумать, что входишь в сад или в лес.
Мы внешней прохладой не дышим в углу нашем затхлом
и смрадном,
С утра на четвертый влезает к нам солнце, огненный бес.

Ни тени единой. Не знаешь, куда от зноя укрыться.
Трещит потолок, рассыхаясь, все к полдню раскалено.
Скрипят склеротичные стены, и штукатурка крошится
И едкой пылью ложится на тусклое окно.

От мух газета, подушка, стена становится черной,
Обсели несвежее мясо, кусают, жалят, жужжат.
Покой и тень лишь в прохладной общественной уборной,
В дощатом дворовом клозете и зной, и мухи, и смрад.

На улицах пыль и грохот. Котлы с асфальтовым варом.
Дробят рабочие камень, ручьями катится пот.
А бес голомордый хохочет и поливает их жаром,
Вдувает им в легкие с пылью сушеный конский помет.

Орут вереницы авто, сверкающих, бешеных, праздных.
Холодная пани в шелках! Вы наших не знаете ног,
Израненных, заскорузлых, натруженных, потных и грязных,
Не знаете наших дырявых пятипудовых сапог.

Богачка из бельэтажа в роскошной мраморной ванне
Смывает мыло под душем, и ландышем пахнет она.
В беседке пломбир лимонный подносит пан своей панне,
И плавают острые льдинки в холодном графине вина.

А нам, чтоб за город выйти, приходится ждать воскресенья,
Бредем, усталые, нищие, в поту, по камням, по песку.
И сядем на берег заплеванной, под деревцо с тощею тенью,
Чтоб над зеленой речушкой свою развеять тоску.

Пьем чай с молоком из бутылки, чуть сладкий и
тошнотворный,
Жуем булку черствую с маслом прогорклым, желтым, как мед.
Но здесь тишина и покой, глазам и сердцу просторней,
Полощутся ноги в прохладе, и речка журчит и поет.

День гаснет, уже свечерело. Ласкаясь, ветер играет;
Круги на воде... Это дождик, прозрачные слезы небес.
Мы смотрим вглубь молчаливо. Там красный шар догорает.
Издых налившийся кровью, нас мучивший огненный бес.

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН

1877—1937

* * *

Мы укрылись в малинник — как бы ненароком —
От нескромного глаза, от сплетни подале.
Мы, смеясь и болтая, малину срывали.
Вся была ты багряным обрызгана соком.

Шмель гудел, огнецветную мальву пугая,
Грели ржавую кожицу листья больные,
Паутины обрывки вились кружевные,
Синий жук проползал иль букашка смешная.

Было душно и радостно в чаше тенистой,
Вдруг стихавшей в пьянящем лесном фимиаме,
Я и сам умолкал, чтоб малину губами
Взять с ладони твоей, как малина, душистой.

Исходила от ягоды ласка живая,
Удивленная, та, что во всей поднебесной
Лишь собой восхищается, юной, прелестной,
И пьянеет, себя без конца повторяя.

Как случилось, зачем — объяснить не могу я —
Я схватил твои руки, ты, вздрогнув, молчала,
Ты внезапно к щеке моей губы прижала,
А малинник безмолвный глядел, торжествуя.

ЛЕОПОЛЬД СТАФФ

1878—1957

НА СВЕРЖЕНИЕ ПАМЯТНИКА ШОПЕНУ *

О нет, не бронзой ты был равнодушной,
Ты был как дыханье, как трепет воздушный,
В котором небесные дивные звуки
Сплелись, как божьих ангелов руки.
Уже отрешенный, в блаженном покое,
Глядишь ты на подлое племя людское,
На мир, где изведал всю бездну мучений,
Каким обречен божественный гений.
Безмерна была твоя слава святая.
Лишь солнечный свет, лишь заря золотая
Дерзала к бронзе твоей прикасаться.
Но раздробил ее меч святотатца.
Бездушный палач, убийца кровавый
В осколки твой образ разбил величавый.
Пред смертью ты молвил, от боли тоскуя:
«Пронзите мне сердце, когда умру я.
Чтоб я не проснулся, не ожил в могиле».
И свято волю твою свершили.
Теперь твоим сердцем вся родина стала.
Орда палачей твой край истерзала,
И весь он — кровавая страшная рана.
Но жив ты, бессмертный! Во мгле урагана
Средь молний и грома, непогребенный,
На тучах играешь ты марш похоронный.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Борис Слуцкий.</i> Предисловие	5
---	---

ИЗ НЕМЕЦКИХ ПОЭТОВ

Вальтер фон дер Фогельвейде

Настоящая похвала	13
Двуязычность	13
«В ручье среди лужайки...»	14
Песнь о венке	14
Вина женщин	16
Элегия	17

Иоганн Вольфганг Гёте

Песнь и статуя	19
Фредерике Брион	19
Филина	21
Свидание и разлука	22
Зулейке	23
Праведные мужи	24
Гиджра	26
Стихии	27
У врат рая	28

Фридрих Шиллер	
Порука	30
Прощение	34
Фридрих Гёльдерлин	
Греция	36
Адельберт Шамиссо	
Последняя любовь лорда Байрона	39
Людвиг Уланд	
Проклятие певца	41
Жница	43
Генрих Гейне	
«Не знаю, что стало со мною...»	45
«Печаль, печаль в моем сердце...»	46
«Поднявшись над зеркалом Рейна...»	47
«Дурные, злые песни...»	47
«В серый плащ укрылись боги...»	48
«Сердитый ветер надел штаны...»	48
«Красавица рыбачка...»	49
«Мы возле рыбацкой лачуги...»	49
«Вдали туманной картиной...»	50
«Когда мне семью моей милой...»	51
Из поэмы «Германия»	52
«Меня вы редко понимали...»	53
«Пока изливал я вам скорбь и печали...»	53
«Дождь, ветер — ну что за погода!..»	53
«Беззвездно черное небо...»	54
«Юность кончена. Приходит...»	55

«Как из тучи светит месяц...»	55
«На бульварах Саламанки...»	56
«Вот сосед ной дон Энрикец...»	56
«И если ты станешь моей женой...»	57
«Вчера мне любимая снилась...»	57
«Влачусь по свету желчно и уныло...»	58
Песнь песней	59
«Землю губит злой недуг...»	60
1649—1793—???	62
Невольничий корабль	63
«Как медлит время, как ползет...»	68
«Завидовать жизни любимцев судьбы...»	69
Enfant perdu	70
Альбрехт Гаусгофер	
Воробы	72
Альфред Шмидт-Засс	
Песнь о жилище мертвецов	73
Иоганнес Р. Бехер	
«Ответь, ужель мы нежность языка...»	76
Высокие строения	76
Белое чудо	77
Волшебный лес	78
Бах	79

ИЗ ПОРТУГАЛЬСКИХ ПОЭТОВ

Луис де Камознс	
«Как лебедь умирающий поет...»	80
«Меня сочли погибшим, наблюдая...»	80

«Меняется и время и мечты...»	81
«Как смерть в глаза выдавший мореход...»	82
«Дожди с небес, потоки с гор мутят...»	82
«Что унесла ты, Смерть? — «Взошедшее светило...» . .	83
«Вы мчитесь, волны, мимо всех преград...»	83

ИЗ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

Жоашен Дю Белле

Песня сеятеля пшеницы	85
«Ученым степени дает ученый свет...»	86
«Ты хочешь, мой Дилье, войти в придворный круг?...»	86
«Я не люблю Двора, но в Риме я — придворный...» . . .	87
«Жить надо, жить, мой Горд, — годов недолог счет!...» . .	87
«Блажен, кто странствовал подобно Одиссею...»	88
«Как в море вздыбленном, хребтом касаясь тучи...» . .	88
«Заимодавцу льстить, чтобы продлил он срок...»	89
«Когда, родной язык сменив на чужестранный...» . . .	90
«Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду...»	90
«Ты хочешь знать, Панжас, как здесь твой друг живет?...»	91
«Когда б я ни пришел, ты, Пьер, твердишь одно...» . .	91
«Пока мы тратим жизнь и длится лживый сон...» . . .	92
«Отчизна доблести, искусства и закона...»	93
«Когда мне портит кровь упрямый кредитор...»	93
«Ты помнишь, Лагеи, я собирался в Рим...»	94

Пьер де Ронсар

«Едва Камена мне источник свой открыла...»	95
«Дриаду в поле встретил я весной...»	95
«Когда одна, от шума в стороне...»	96

«В твоих кудрях неожиданный снег блеснет...»	96
«Эй, паж, поставь нам три стакана...»	97
Стансы	97
«Мой боярышник лесной...»	99
Моему ручью	100
«Мари, перевернув рассудок бедный мой...»	101
Амуретта	101
«Меж тем как ты живешь на древнем Палатине...» . . .	103
Шалость	103
«Ах, чертов этот врач! Опять сюда идет!...»	105
«Как роза ранняя, цветок душистый мая...»	105
«Когда от шума бытия...»	106
Амадису Жамену	107
«Ты плачешь, песнь моя? Таков судьбы запрет...» . . .	108
«Когда в ее груди — пустыня снеговая...»	108
«Оставь страну рабов, державу фараонов...»	109
«Когда хочу хоть раз любовь изведать снова...»	109
«Я к старости клонюсь, вы постарели тоже...»	110
«А что такое смерть? Такое ль это зло...»	110
«Я высох до костей. К порогу тьмы и хлада...»	111

Кристоф Плантен

«Что нужно на земле? Удобный, чистый дом...»	112
--	-----

Оливье де Маньи

«Горд, что мы делаем? Когда ж конец войне?...»	113
«Не следует пахать и сеять каждый год...»	113

Жак Гревен

«Без них ты ни на шаг — им власть над всем дана...» . . .	115
---	-----

Филипп Депорт	
«Друг одиночества ночного, мирный Сон!..»	116
Жан Лафонтен	
Очки	117
Франсуа Мари Вольтер	
Четверостишие, сочиненное в день кончины	124
Альфред де Виньи	
Смерть волка	125
Виктор Гюго	
Что слышится в горах	128
Эжезип Моро	
Жану-парижанину	131
Теофиль Готье	
Дрозд	134
Уютный вечер	135
Шарль Бодлер	
Альбатрос	138
Предрассветные сумерки	138
Лебедь	139
Душа вина	141
Пейзаж	142
Тревожное небо	143
«Я не могу забыть в предместье городском...»	144
Сплин	144
Осенняя песня	145
Вечерние сумерки	146

Игра	147
Прошедшей мимо	148
Экзотический аромат	149
Прекрасная ложь	149
Прекрасная ложь (<i>вариант</i>)	150
Старушки	151
Парижский сон	154
Путешествие	157
Хосе Мариа де Эредиа	
Фонтану India	163
Желание	163
Бюсту Психеи	164
Стефан Малларме	
«Тоскует плоть, увя! К чему листать страницы...»	165
Поль Верлен	
«Я также отдал экзотизму дань...»	166
Искусство поэзии	166
Ночное зрелище	168
«Пейзаж стремительно бежит меж занавесок...»	168
«Я шесть недель прождал, осталось двадцать дней!..»	169
Час любви	170
«Попойки в кабаках, любовь на тротуарах...»	170
Лунный свет	171
«От лампы светлый круг, софа перед огнем...»	171
Утренняя молитва	172
Артур Рембо	
Парижская оргия, или Париж опять заселяется	174

Анри де Ренье	
Французский город	177

Луи Арагон

Из поэмы «Глаза Эльзы»	179
Глаза Эльзы	179
Ночь изгнания	180
Кавардак на слякоти	182
Пасторали	184

ИЗ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ

Джонатан Свифт

Басня о Мидасе	185
--------------------------	-----

Перси Биши Шелли

Облако	188
------------------	-----

Джордж Гордон Байрон

«Когда б я мог в морях пустынных...»	191
Стихи, написанные под старым вязом на кладбище	
Харроу	193
Застольная	194
«Я был подвергнут испытанью...»	195
Прощание Чайльд Гарольда	197
Женщине, которая спросила, почему я весной уезжаю из	
Англии	199
К Тирзе	200
«Еще усилье — и постылый...»	202
Эвтаназия	205
Стансы Августе	206
Стансы Августе	207

Гибель Сеннахериба	209
Прометей	210
Паризина	213
Джон Китс	
«День отошел и радости унес...»	233
«О если б вечным быть, как ты, Звезда!...»	233
«Когда страшусь, что смерть прервет мой труд...»	234
Роберт Браунинг	
Как привезли добрую весть из Гента в Ахен	235
ИЗ АВСТРИЙСКИХ ПОЭТОВ	
Николаус Ленау	
Форма	238
Три индейца	238
Смотри в поток	240
Печаль небес	240
Осеннее чувство	241
Три цыгана	242
К весне 1838 года	243
Холостяк	245
ИЗ ПОЛЬСКИХ ПОЭТОВ	
Адам Мицкевич	
Вид гор из степей Козлова	247
Бахчисарай	248
Алушта днем	248
Алушта ночью	249
Аюдаг	249
Станислав Выспянский	
Каникулы	251

Юлиан Тувим	
Неведомое дерево	253
Картофель	254
Лето бедняков	255
Болеслав Лесьмян	
«Мы укрылись в малинник — как бы ненароком...» . . .	257
Леопольд Стафф	
На свержение памятника Шопену	258

В. ЛЕВИК
ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

Художественный редактор *А. Купцов*

Технический редактор *А. Токер*

Сдано в производство 7/XII 1973 г. Подписано к печати 23/VII 1974 г.
Бумага тип. № 1 70x108¹/₃₂, бум. л. 4¹/₄. Уч.- изд. л. 9,87. Изд. № 15379
Цена 51 к. Заказ 4861

Издательство «Прогресс» Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 21. Московская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Мало-Московская, 21.